

К. Г. ЛЕВЫКИН

# Памятью сердца в минувшее...



Константин Левыкин

**Памятью сердца в минувшее...**

«Языки Славянской Культуры»

2004

## **Левыкин К. Г.**

Памятью сердца в минувшее... / К. Г. Левыкин — «Языки Славянской Культуры», 2004

В предлагаемой читателю книге автор продолжает свою повесть воспоминаниями о том, как он стал москвичом, как непросто приходилось его родителям устраиваться в новой московской жизни покинув родной дом в деревне в конце двадцатых годов. Она начиналась по временной прописке в Протопоповском переулке и на Третьей Мещанской улице, в квартирах коренных московских обывателей, а продолжилась вплоть до начала Великой Отечественной войны в фабричном общежитии на Закрестовской окраине Москвы. Здесь в тридцатые годы в барачных городках общежитий расселилась молодежь, по общей исторической судьбе и одинаковым причинам покинувшая свои родные гнезда – деревни, села, городки, и сменившая родительские дома на казенное неблагоустроенное житье. Вторая часть книги посвящена воспоминаниям о Великой Отечественной войне, которую сам автор прошел солдатом. Свою солдатскую службу он начал добровольцем, участвовал в обороне Москвы, обороне и освобождении Северного Кавказа и Кубани. Войну автор закончит сержантом Отдельной мотострелковой дивизии им. Ф. Э. Дзержинского, в которой ему пришлось служить после боев на Кубани в составе парадного расчета этой дивизии 24 июня 1945 года старший сержант Левыкин принимал участие в Параде Победы на Красной площади. Всему этому автор книги, историк, профессор К. Г. Левыкин дает объяснение и оценку.

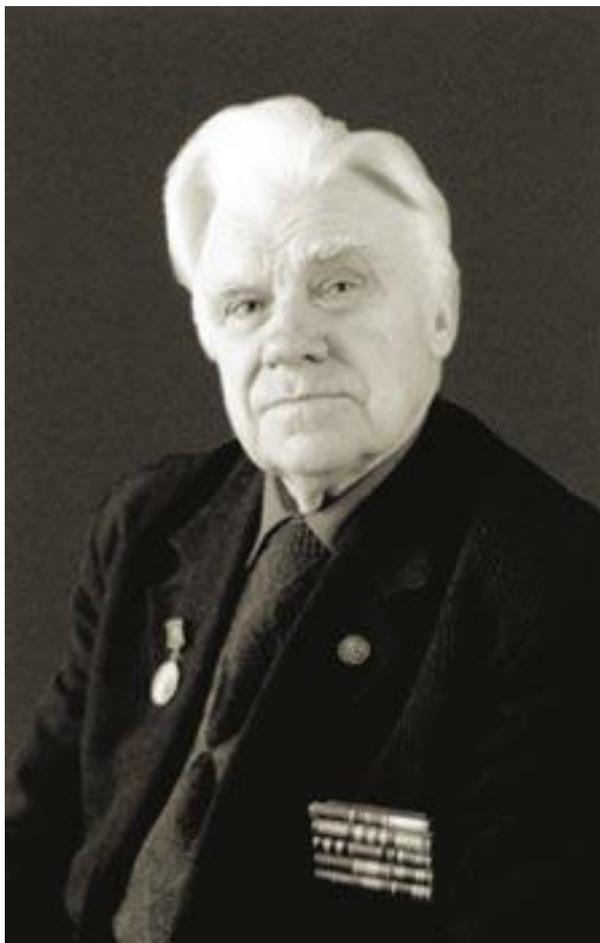
© Левыкин К. Г., 2004

© Языки Славянской Культуры, 2004

# Содержание

Часть I	10
Конец ознакомительного фрагмента.	40

## Левыкин Константин Григорьевич Памятью сердца в минувшее...

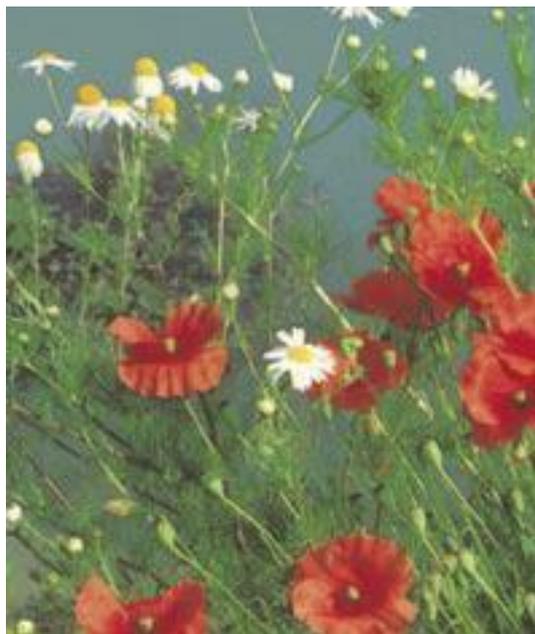


*Левыкин Константин Григорьевич – уроженец деревни Левыкино Мценского района Орловской области. Родился 25 февраля 1925 года. В 1941 г. окончил 9 классов в школе № 270 Ростокинского района города Москвы. Участник Великой Отечественной войны – доброволец. Оборонял Москву в 1941–1942 гг. В 1942–1943 гг. воевал на Северном Кавказе и на Кубани. Участник парада Победы 24 июня 1945 года.*





*В 1949–1954 гг. учился в Московском Государственном университете имени М. В. Ломоносова. В 1957 г. закончил аспирантуру исторического факультета МГУ. Кандидат исторических наук. Профессор МГУ. В 1976–1992 гг. – директор Государственного Исторического музея.*



## **Часть I**

# **Воспоминания о московской жизни в далекие счастливые и тревожные тридцатые годы XX века**

*Памяти учителей и одноклассников моих посвящаю*

С городской жизнью и с Москвой я познакомился еще до того, как стал ее постоянным жителем. Теперь, уже на восьмом десятке лет, мои ностальгические воспоминания о детских деревенских далях вдруг стали перемежаться с неожиданными картинками такой же далекой Москвы моего детства.

Я помню ее с тех пор, когда Триумфальная арка еще стояла на своем старом месте, в конце Тверской, перед Александровским (ныне Белорусским) вокзалом. Через Красную площадь ползали трамваи и, гудя, проскакивали автомобили. На старом месте еще стояла Сухарева башня, а недалеко от нее жил криминальными нэповскими страстями Сухаревский рынок. Около кинотеатра «Форум» зимними вечерами на освещенной эстраде-раковине играл военный духовой оркестр, наверное, из Спасских казарм. А в сквере на Садово-Самотечной улице выступали бродячие цыгане с гитарами и бубнами, с дрессированным, потертым до жалости медведем. На Цветном и Чистопрудном бульварах детей катали на верблюде и на слоне. Наверное, это занятие было их приработком к цирковой программе. А на бульваре Екатерининской площади можно было покататься на красивых пони.

Я помню Москву с извозчиками. Зимой они возили москвичей в санках с меховым фартуком, укрывающим от холода и снега их ноги. А летом и осенью они разъезжали на пролетках с огромными колесами, на рессорах, с мягкими сиденьями, накрытыми в дождливую погоду кожаными козырьками. Особенно красиво смотрелся этот московский транспорт у вокзалов. Пролетки или санки, запряженные сытыми лошадьми, стояли полуколыцами перед вокзалами.

На облучках сидели извозчики в подпоясанных кушаками, длинных до пят кафтанах в сборку по талии. Позы у всех были разные – одни восседали гордо в кучерских колпаках набекрень, другие дремали, скособочившись на своих облучках, вот-вот готовые упасть, а третьи – словно думу думали о своем житье-бытье, про овес, про больную жену, а может, еще про какую-нибудь беду или горе. А лошади жевали овес из брезентовых, надетых на их морды торб. Доедая свою норму, они мотали головами, подбрасывая торбы и лоя в них остатки зерна.

Помню я и поражавшие меня тогда, особенно зимними вечерами, освещенные необыкновенным светом московские улицы со спешащими пешеходами в казавшейся мне необыкновенной городской одежде.

Московские молодые женщины носили тогда разноцветные береты. Пальто у многих зимой были с пышными меховыми воротниками, а на ногах были надеты белые фетровые боты. Они надевались на легкие туфли для тепла. Женщины перебирали своими быстроходными ножками в этих, наверное, тяжелых ботах, будто убегая от подгонявшего их вечернего морозца. Скрипел под ботами снежок, а они, укрыв свои носики в пышные меха воротников и спрятав руки в меховые муфты, все бежали и бежали друг за другом по московским тротуарам. А среди них иногда появлялись парочки. Принято было тогда в городе мужчинам водить своих жен и ухажерок под руку. Среди мужской московской публики много еще было таких, которые носили зимой пальто на хоровом меху с воротниками «шалью». А шапки у них были каракулевые, пирожком. На ногах, поверх ботинок, блестели галоши и белели фетровые гетры. Мужчины бережно и в то же время с достоинством вели своих спутниц по тротуарам мимо ярких витрин гастрономических, бакалейных, мясных, кондитерских, булочных, парфюмерных и галантерейных магазинов, мимо окон парикмахерских салонов, различных

мастерских, кафе и ресторанов. Само слово «ресторан» мне долго оставалось непонятным. С самого раннего детства помню я улицы Сретенку и Первую Мещанскую. Сейчас они составляют общую магистраль, а тогда посредине перекрестка с Садовой были разделены Сухаревой башней. Путешествуй по магазинам, Мама иногда брала и меня с собой. Много соблазнительного я видел в магазинных витринах и часто мешал ей своими капризными требованиями. Чаще, вместо их удовлетворения, я получал назидательные шлепки. Оттого и помню эти улицы и магазины, и их витрины и прилавки, и даже услужливых продавцов.

По вечерам улицы освещались электрическими фонарями. Но все-таки главный свет на них лился через стекла витрин магазинов. А в переулках было темно. Не во всех были фонари, а в некоторых еще продолжали тускло светить газовые горелки.

По улицам Москвы днем и ночью плыли и плыли в разных направлениях трамваи, звеня сигнальными колоколами, серебристыми трелями звонков и гудя рельсами на крутых поворотах своего маршрута. Этот звон и гудение в зимние вечера казались какой-то завораживающей музыкой. Она как бы украшалась светом сигнальных огней в маршрутных фонарях трамваев. Под музыку рельсов, звон колоколов и звонков их огоньки плавали в ночи, как разноцветные шары: синие, красные, зеленые, белые, фиолетовые, в разных сочетаниях. Поздними морозными зимними вечерами эта трамвайная светомызыка томила нетерпением и подбадривала ожиданием замерзающих на остановках запоздавших горожан, добравшихся домой из гостей, из театров и кино до своих теплых квартир.

Я помню почти все главные трамвайные маршруты того времени – бульварную «Аннушку», кольцевую-садовую «Букашку», заяузскую «Верочку», межвокзальную «Двойку» и другие номерные и световые знаки и отличия. С родителями мне часто приходилось ездить в разные концы Москвы, чаще по врачам и больницам, а иногда и по гостям. В этих трамваях памяти я и теперь мысленно возвращаюсь в минувшее, в Москву моего детства.

Водителей трамваев тогда называли вагоновожатыми. Они были одеты в специальную униформу, похожую на железнодорожную. Но особенно впечатляюще эти мастера трамвайного вождения выглядели зимой, одетые поверх формы в огромные овчинные тулупы. А на ногах у них были тоже огромные валенки. Вагоновожатые сидели на специальном высоком винтовом стуле. Точнее сказать, они не сидели, а полустояли. Одной рукой в рукавицах они все время поворачивали какую-то медную ручку и, в зависимости от этих поворотов со щелчками, трамвай трогался, набирал скорость, замедлял свой бег и останавливался. А другая рука лежала на большом круглом колесе, похожем на руль. Иногда вагоновожатый быстро вращал это колесо, и трамвай резко тормозил. Одной ногой он попеременно нажимал на два блестящих штыря со шляпками, торчащими из-под пола, и оттуда, из-под пола, словно бы из-под колес раздавался то колокольный звон, то разливающая трель электрического звонка. В каждом вагоне на специальном сиденье возвышались фигуры кондукторов. Они продавали билеты, объявляли остановки и с помощью веревки, протянутой сверху вдоль вагона, подавали сигнал вагоновожатым к отправлению, а иногда и к экстренной остановке. Трамвайными кондукторами чаще были женщины. Но в ту далекую, вспоминаемую мной пору кондукторами служили еще и мужчины. У них через плечо были надеты специальные кожаные сумки с жесткими медными застежками, в которые они складывали деньги, получаемые за билеты. А билеты различного достоинства – в 10, 15 и 20 копеек – на специальном устройстве рулонами катушек висели на груди кондуктора слева под правую руку или закреплялись на колодке, если они были изготовлены в виде пачек. Кондуктор одновременно раздавал билеты, принимал деньги, давал сдачу, объявлял остановки, дергал за веревочку, давая вагоновожатому сигнал отправления, руководил входом и выходом пассажиров. Иногда это руководство звучало в вежливых, просительных или требовательных интонациях, а иногда оно превращалось в долгую перебранку с пассажирами на выразительном московском городском языке.

В часы пик трамваи были переполнены пассажирами. На подножках они висели гирляндами. В вагонах было тесно. То и дело вспыхивали перебранки между входящими и выходящими. И всей этой трамвайной жизнью руководил кондуктор. И полз московский трамвай по рельсам, причудливо переплетавшимся на перекрестках и поворотах московских улиц. Кондуктор до хрипоты спорил с неподатливой публикой. На каждой остановке ее все прибывало и прибывало. На подножках и справа, и слева висели безбилетники. А на буфере последнего вагона, уютно устроившись, обхватив руками тормозной шланг-колбасу, неизвестно куда и зачем обязательно путешествовал беспризорник.

Были тогда уже в Москве и такси, и автобусные маршруты. Автобусы были заграничного производства, красно-коричневого цвета и с овальными боками. Двери их висели на шарнирных устройствах, а подножки качались из стороны в сторону. Ездить на них часто мне не приходилось. С детских лет мне полюбился трамвай. Я и сейчас считаю этот вид транспорта наиболее удобным. В те далекие времена они, мне кажется, содержались в лучшем виде, чем сейчас. Деревянные сиденья в вагонах были выкрашены под левкас в красный цвет и приветственно радовали глаз пассажиров. И горели в вагонах всегда яркие электрические лампочки.

Проберешься, бывало, с Мамой через переднюю площадку в переполненный вагон и, стоя на одной ноге, терпишь все неудобства, пока тебе не посчастливится занять освободившееся место у заснеженного окошка. Сидишь, мерзнешь и едешь неизвестно куда, так как в окошко ничего не видно. Потом, по примеру соседей, начинаешь усиленно дуть на толстый слой инея. Наконец продуваешь маленькую дырочку, через которую становится виден мир. Ехать становилось веселей. Чтобы дырочка вновь не замерзла, время от времени дуешь в нее снова. Каждый пассажир таким способом делает для себя это смотровое отверстие, чтобы следить за дорогой и не проехать нужную остановку. Наконец приезжаешь или к месту назначения, или к остановке, на которой делается пересадка на другой маршрут. В новом трамвае все начинается сначала. А у Мама свои беспокойства. Очень она всегда волновалась, успел ли Отец сесть в наш вагон с задней площадки. С передней ему входить было не положено. Взял ли он билеты? А если мы ехали без него, то надо было передать деньги кондуктору, затем получить обратно билеты. А потом Мама, беспокоясь, чтобы не проехать нужной остановки, неоднократно через весь вагон обращалась к кондуктору с вопросом, скоро ли будет наша остановка.

На трамвайные поездки уходило очень много времени. Зато они помогали увидеть и запомнить Москву. Так я и узнавал ее в далеком детстве – через маленькие щелочки в запорошенных зимним инеем трамвайных окнах.

Все эти картинки Москвы возникали передо мной и сохранились в моей памяти еще с конца двадцатых годов – с ежегодных зимних наездов из деревни с Мамой к столичным докторам, чаще всего по причине моих болезней. Но были и другие причины, которые требовали периодического присутствия Мама в Москве. Здесь складывалась новая жизнь нашей семьи, и мамино присутствие при этом было необходимо. Отец в деревню возвращаться был не намерен, а одного его без присмотра оставлять Мама было опасно. Надо было беречь семью. Но переехать на постоянное жительство всей семьей сразу было невозможно. Первое время Отец обретался по чужим углам, не имея постоянной прописки и места работы. Потом Мама отправила к нему старших братьев для продолжения учебы. Теперь Отцу оказалось возможным снять комнату. Старые дореволюционные друзья помогли ему устроиться на работу по торговой части. Наше будущее все определеннее и настойчивее связывалось со столицей. Но деревня еще прочно удерживала нас в уходящем прошлом. Здесь был хороший дом под железной крышей с прекрасным яблоневым садом, лошадь, корова, амбар и двор под черепичной крышей. Не просто было родителям навсегда расстаться с этим, неизжитым еще из сознания укладом. Но жизнь упрямо толкала на новую дорогу, которую они фактически выбрали еще в далекие предреволюционные годы. Обустроившись после революции в деревне, обзаведясь хозяйством, они не могли забыть цивилизованной городской, столичной жизни в удобной квар-

тире в Гарднеровском переулке. О ней Мама много рассказывала, вспоминая мирное время накануне Первой мировой войны. В этих воспоминаниях она оставалась еще городской женщиной. В Москве жили друзья нашей семьи, здесь были общие компании и интересы, общение по будничным дням и за праздничным застольем. Прошлая жизнь тянула и Отца и Маму в этот сверкающий электричеством мир, тянула не только незабытыми обывательскими привычками, но и новыми интересами к культуре и просвещению. Тогда, в «мирное время», родители мои познакомились с классикой русского кинематографа, с его звездой Верой Холодной, слушали песни Вари Паниной и Надежды Вяльцевой. Им были знакомы имена Шаляпина, Собиннова. Хаживали они и в Малый, и в Художественный театры, видели первую постановку «На дне» и «Растеряеву улицу» с участием корифеев русской сцены. Мама по-своему, очень чувствительно воспринимала воссоздаваемую на сцене знакомую ей реальную жизнь. О прошлой городской жизни Маме напоминали старые московские друзья, которые ежегодно летом приезжали к ней в гости на отдых, на деревенское молоко и вкусные пироги и лепешки. Наверное, глядя на них, она не только вспоминала недавнее прошлое, но и скучала по нему.

Отец уехал из деревни в 1925 году, окончательно поняв, что в крестьянской жизни удачи ему не будет. Но нажитое хозяйство он не ликвидировал, а поручил его беречь своей жене. Мало ли что, – думал он, – может случиться в новой, уже неизвестной ему Москве.

Мы, то есть я, моя сестра Антонина и Мама, крестьянствовали до самого начала коллективизации и даже успели стать колхозниками. Но однажды, похоронив свою свекровь, Мама собрала нас в дорогу, заколотила окна и двери дома, оставила на попечение соседней корову Рябку и черную с белым бантиком кошку Мурку, и мы нежданно и непрошено приехали в Москву, как оказалось, навсегда. Так я и стал москвичом. О деревне с тех пор я храню воспоминания и теперь тоскую по ней, а в Москве я прожил всю жизнь, в ней вырос, выучился, ее оборонял в сорок первом, в нее вернулся после войны и устроил свою жизнь так, как смог. В Москве я похоронил своих родителей. Теперь уже можно с уверенностью сказать, что и мне определено завершить здесь свой жизненный путь.

Во времена наших периодических зимних наездов Отец со старшими сыновьями квартировал у хозяев в Безбожном переулке, в доме под номером 24. Он снимал комнату на первом этаже, во флигеле внутри двора. Мне запомнились хозяева квартиры Анциферовы как добрые и гостеприимные люди. Они участливо относились к моим болезням, давали Маме различные советы об известных им врачах-специалистах и о больницах. А меня они одаривали гостинцами. У них я впервые в жизни увидел наряженную старинными елочными игрушками рождественскую елку. Коренные московские обыватели, особенно проживавшие во дворах старинных переулков, не переставали тогда, несмотря на официальное идейное осуждение обрядов, праздновать новогодний и рождественский праздники. Они сохраняли наборы удивительных елочных украшений в виде необыкновенных бумажных цветов, раззолоченных орехов, хлопушек, бонбоньерок с конфетками, всяких зверушек из папье-маше. На ветки вешали настоящие яблоки, мандарины, пряники, печенье и длинные, в красивой обертке, конфеты. Елки сияли блеском мишуры, зимнего дождя и огнем свечей. Несмотря на опасность пожара, люди не отказывали себе в удовольствии зажечь на них свечи в новогоднюю и рождественскую ночи.

Наряженную новогоднюю елку я запомнил с тех далеких приездов в зимнюю Москву. И когда она наконец обрела законный праздничный статус, меня это не удивило. Удивляло лишь, почему так долго людей заставляли отказываться от этого красивого праздника и замечательного удовольствия.

Запомнились с тех далеких моих приездов и некоторые окрестности Безбожного переуллка. Помню, как мы с Мамой выходили на Первую Мещанскую улицу встречать возвращающегося с работы Отца. В его карманах я находил всегда недеревенские гостинцы в виде конфет-мишек и совсем еще тогда незнакомых мандаринов. Иногда мы с Мамой заходили в магазины. Из них мне особенно запомнился зеленой магазин с неожиданно, в зиму, летними

запахами земли, кореньев, травы и овощей. В деревенскую холодную зиму о таком удовольствии можно было только мечтать. До весенних проталин там живую зелень можно было увидеть только на подоконниках, в горшках с цветами. Мы гуляли с Мамой по Первой Мещанской в одну сторону до Виндавского вокзала и Крестовских башен, а в другую – до Сухаревой башни и большого универсального магазина фирмы «Меллев, Корташев и К<sup>о</sup>», что находился на углу Сухаревской площади и Сретенки. Иногда мне удавались и самостоятельные вылазки со двора вместе со сверстниками. Мы перелезали через забор заднего двора и оказывались сразу в каком-то ином мире. Здесь росли высокие деревья, а внутри необыкновенных стеклянных домов и вовсе росли необыкновенные растения. Тогда я услышал впервые название «Ботанический сад», но что это значило, я так и не узнал. Не знал я тогда, что это был старинный Аптекарский огород, устроенный в далекие времена при Московском университете. Когда моя Мама узнала, что я лазил в Ботанический сад, мне, конечно, попало.

Бывали случаи, когда, опять же со сверстниками, мы выбегали со двора на тротуар переулка. Тогда я увидел напротив нашего дома двор военных казарм. Много лет спустя я узнал, что в этих казармах когда-то стоял Астраханский полк, принимавший участие в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, а в 1905 году отличившийся своим сочувственным отношением к революционно настроенным жителям столицы.

А на углу Безбожного и Астраханского переулков была тогда прачечная, в которой работали китайцы. Удивительно мне было то, что белье там стирали мужчины. В то время я считал, что занятие это совсем не мужское. А женщины-китайки поражали меня необыкновенной обувью на маленьких ножках и еще тем, что они торговали здесь же, около прачечной, невиданными мной до этого времени бумажными игрушками – цветами, шарами, драконами и различными свистульками типа «уйди-уйди».

Был там же, неподалеку от нашего двора, маленький деревянный домик, в окно которого мы спусками пятачок, и чья-то рука выдавала нам за это кулечек с вафлями. Мне так и осталось неведомым, кто же был этим добрым человеком, который за пятак угощал нас вкусными круглыми вафлями. Все это я запомнил, еще не ставши тогда постоянным московским жителем. После длинной побывки и излечения от болезни наступало время, когда Отец сажал нас с Мамой на извозчика и отвозил на Курский вокзал. Архитектуру этого сооружения – его экстерьер, интерьеры, подземные тоннели и перроны я запомнил тоже с тех дней отъезда, вместе с ночной холодной вокзальной тревогой. Перед посадкой в поезд мы с Мамой в волнении сидели на своих деревенских корзинах в огромном зале, а Отец долго бегал по билетным каскам. Потом он прибежал к нам с билетом в руках. Оказывалось, что поезд вот-вот должен уже отойти. Меня хватали за руку, и мы бегом по холодному ночному тоннелю бежали к выходу на перрон. Выбегали из вокзала в холодную ночь, и передо мной сразу возникала таинственная, жутко манящая куда-то, ночная железнодорожная даль с красными и зелеными огнями semaфоров. И еще, с тех пор я запомнил странное и непонятное мне слово на одном информационном табло – «Минводы». Мне долго объясняли, что это значило. Но я никак не мог понять, почему какой-то город мог называться таким непонятным и в то же время простым словом. Мы уезжали зимней московской ночью в непонятную даль под названием «Минводы». А утром следующего дня оказывались на своем родном полустанке под знакомым и не вызывающим никаких сомнений не по-русски звучащим названием «Бастыево».

Но вот мы навсегда приехали в Москву. Отец встретил нас на вокзале и привез на Третью Мещанскую, в дом номер 53. Здесь, в этом доме, семья наша получила первую постоянную московскую прописку. Этот окончательный приезд в Москву отличался от всех предыдущих тем, что на этот раз Мама приехала со своей кроватью, буфетом и дубовым обеденным раскладным столом. Мебель эта была приобретена родителями еще в дореволюционный период их жизни в столице в Гарднеровском переулке. От тогдашнего сборного гарнитура в деревне оставались еще плюшевый диван с высокой спинкой и орехового дерева гардероб с комодом. Привезен-

ную в Москву часть домашнего убранства ставить было негде. Нам всем еще долго предстояло жить по чужим углам, и мы с этой деревенской мебелью несколько раз перекочевывали от одних квартирных хозяев к другим. В доме номер 53 по Третьей Мещанской Отец тогда снимал комнату у тамошних квартиросъемщиков Никифоровых в трехэтажном каменном флигеле. Комнату, в которой мы жили некоторое время, и хозяев квартиры я сейчас представляю смутно. Помню самого хозяина, Никифорова, и двух его дочерей. Одну из них звали Варварой, а другую, младшую, Симой. Она была азартной хоккеисткой и играла в команде соседнего с нашим двором парка-стадиона под названием «Профинтерн». Пожалуй, эта девушка и видом, и азартом своим подала мне первый пример увлечения спортом. На каток и с катка она ходила с хоккейной клюшкой на плече, на которой сзади висел чемодан с коньками и другим снаряжением. На голове ее лихо возвышалась вязаная шапочка. Разговаривала она громко и уверенно и всегда была весела и жизнерадостна.

Вообще-то в нашем дворе не одна Сима Никифорова заражена была спортивным азартом. Значительная часть тогдашней молодежи в нашем Чулковском дворе увлекалась спортом на разных площадках того же стадиона. Но преимущество отдавалось хоккею и футболу. На стадион все мы обычно ходили через забор. Для того чтобы через него можно было перелезть, ребята устроили специальное приспособление – лестницу из металлических клиньев, вбитых в толстый ствол ивы, росшей вплотную к забору. Но у нас на заднем дворе была и своя тренировочная площадка. Летом старшие ребята устанавливали на ней футбольные ворота. Тренировки проходили здесь постоянно. Играли обычно в одни ворота. А зимой площадка заливалась водой и шла игра в хоккей в двое ворот. На нашем дворовом льду, между прочим, вырос знаменитый хоккеист, сподвижник Всеволода Боброва Александр Стриганов. Он уже и тогда был знаменит своей хоккейной кличкой – Стриж. Еще одним занятием знаменит был наш Чулковский двор – на дворе была голубятня братьев Ивановых с приличной партией породистых голубей. К азартному занятию гонять голубей приобщены были почти все ребята. Братья-хозяева позволяли всем участвовать в этой забаве.

С заднего двора и за красным кирпичным флигелем с нами соседствовала парфюмерная фабрика «Красный Май», которая до революции, да и после нее, вплоть до тридцатых годов, в местном обиходе именовалась по имени ее хозяев фабрикой Бодло. Долгое время рядом с нашим домом по Третьей Мещанской, вплоть до ее последней реконструкции накануне Московских Олимпийских игр, стоял четырехэтажный благоустроенный дом, в котором когда-то жили хозяева этой фабрики. Дом был с роскошным подъездом, вестибюлем и лифтом. Мы, ребяташки, проникали иногда в этот роскошный зеркальный вестибюль, и лифтерша за 10 копеек катала нас в шикарном лифте один раз вверх и вниз. Проникали мы, конечно, и на соблазнительный фабричный двор, тоже через забор, а иногда и под забором. Там в ящиках хранилась стеклянная тара для производимых здесь духов – графинчики, флакончики, колбочки и пузырьчики. Добытые в результате наших набегов трофеи украшали многие комоды и шкафы в квартирах обитателей Пулковского двора.

Двор нашего дома под номером 53 по Третьей Мещанской улице в обиходе назывался Чулковкой, по имени известного московского домовладельца, которому до революции принадлежали все эти строения. Каменный трехэтажный дом фасадом вдоль улицы делился пополам въездными воротами, как положено, с дворницкой. Ворота на ночь запирались дворником, и запоздавшие обитатели двора звонком будили его, чтобы он впустил их в дом, конечно, за чаевой рублик. Как и повелось, дворником у нас был татарин. Все работы по двору делала вся его семья «от мала до велика». Но изрядную долю этих работ охотно выполняли и мы, то есть дворовая детвора. Особенно нравилось нам зимой скребком очищать затоптанный тротуар и возить убранный с улицы снег на санках с большим ящиком на задний двор.

По вечерам дворницкая подворотня была местом сбора старшей дворовой молодежи. Стояли у ворот наши парни за каким-то разговором, а то и просто молча. А иногда под гитарку

напевали «Ох, эти черные глаза», «Девушка из маленькой таверны», «Вернись, я все прощу» и другие душещипательные модные романсы. Прохожие опасливо проходили мимо таких ребячьих стай. Были, наверное, у них основания для такой осторожности. Иногда подобные компании в темных московских переулках были опасными для запоздавших пешеходов. Но ребят с нашего двора упрекнуть было не в чем. Наш двор был вполне добропорядочен. Безнадзорной молодежи у нас не было. У всех были родители, все дети здесь вырастали под их строгим присмотром. Исключением, однако, из этой благополучной среды был только Шурик Студенцов. Он на наших глазах вырастал жуликом, вором или, как их тогда называли, уркой. Родители его, между прочим, были вполне порядочные люди, даже очень интеллигентного вида. А красивую сестру Шурика звали Марго. У меня сохранилась фотография всего нашего ребячьего дворового населения. Имена многих моих сверстников я уже забыл. Но Шурика Студенцова и его красивую сестру я на ней узнаю. Большая часть ребят не вернулась с войны, а Шурик не вернулся из лагерей. Мы все боялись нашего дворового уголовного сверстника, особенно после того, как однажды милиционер, среди бела дня, поймал его во дворе и повел в милицию. Мы гурьбой сопровождали арестованного до самой Части. Так называли перекресток Третьей Мещанской и Божедомки.

Там размещалось депо Мещанской пожарной части и 21-е отделение милиции. Родителям Шурика удалось тогда спасти сына от наказания за какой-то проступок. Но после этого за ним и пошла уголовная слава. Кажется, в конце концов она обернулась для него рецидивами длительных сроков заключения и окончательной пропажей. А его сестра Марго выросла красивой женщиной. Несколько раз после войны я встречал ее в старых довоенных окрестностях Чулковского двора.

В начале тридцатых годов наш двор жил спокойной мещанской жизнью. Запомнились мне некоторые фамилии коренных чулковских семей: Манахины, Ивановы, Гришаевы, Михеевы, Соськовы, Никифоровы. Все обитатели двора жили мирно, в дружеском общении и в будни и в праздники. Уголовная репутация Шурика Студенцова стала тогда единственным исключением из этой общей благополучной картины. Был у нас во дворе свой парикмахер Алексей Иванович, к которому приходили стричься в предпраздничные дни взрослые и дети. До сих пор я помню и нашего дворового слесаря-водопроводчика. Он был высок ростом, тощ. А лицо у него и вовсе было не водопроводческое. Не будь он небритым, неумытым и постоянно выпившим, выглядел бы он вполне интеллигентным человеком. Может быть, он был бы похож на француза типа Шарля де Голя. А иногда, уже по далекой памяти, он казался мне похожим на знаменитого эстрадного куплетиста Илью Набатова. Конечно, как и нынешние слесари-водопроводчики, дядя Володя был алкашом. Но тогда таких, как он, просто называли пьяницами. Он всегда был при деле и поэтому всегда был пьян. В те далекие времена расплата с водопроводчиками за труд производилась «натурой». Идет, бывало, по двору тощий, небритый, долговязый дядя Володя в длинном, до пят, с чужого плеча пальто, со своими нехитрыми инструментами – прокачкой и проволочным тросом, а мы сзади бежим за ним, дергаем его за полы и дразним: «Дядя Володя! Пу-пу». Почему «Пу-пу», – до сих пор не знаю. Умер он от белой горячки. А сметливая наша квартирная хозяйка Дарья Никаноровна сообразила и отбила по этому случаю телеграмму моему старшему брату, проходившему действительную службу в Красной Армии: «Дядя Володя умер, приезжай хоронить», и заверила ее соответствующей печатью. И командир отпустил братца на похороны дяди Володи, который таковым нам не приходился. Невелик был грех. Погулял мой брат на помин Володиной души недельку в неожиданном отпуске.

А еще в нашем дворе жила корова. Хозяева ее обитали в заднем одноэтажном деревянном флигеле. А корова жила в сарае, из которого хозяева выводили ее только на время уборки навоза. Очень был я удивлен, увидев это в городском дворе. Мне было очень жалко корову, которая томилась в этом маленьком, темном и вонючем сарае. Я вспоминал нашу деревенскую

Рябку и деревенское коровье приволье. Мне сразу несимпатичными стали хозяин и хозяйка этой заточенной в неволе сивой коровы. А обитатели двора и мои родители тоже, тем не менее, охотно покупали у них вкусное молочко.

Иногда двор наш оживал неожиданными затеями. Часто забредали сюда шарманщики с попугаем и таинственными пакетиками с предсказанием судьбы каждому, кто заплатит попугаю рубль. Приходили кукольники с Петрушкой, акробаты с бубнами, которые на расстеленном коврикe делали всяческие кульбиты и стойки, звеня при этом бубном.

А рано утром двор вдруг оглашался каким-то таинственным, не сразу понятным коротким пением: «Стреберем, Стреберем». Это приходил старьевщик-татарин с пустым мешком на плече. Оказывается, он повторял совсем простое объявление: «Старье берем». Но я, между прочим, не помню, чтобы кто-нибудь, что-нибудь, когда-нибудь отдавал бы ему из своего старья. Так, чаще всего с пустым мешком он и уходил со двора. Долго в Москве в ту пору старьевщиком-татарином родители пугали своих непослушных и неразумных еще детей. Пугали и меня. И я боялся этих угрюмых мужиков, как мне казалось, с недобрый взглядом и с мешком на плече. И еще я тогда не мог понять, зачем ему нужно было «старье».

Приехав с Мамой в Москву, я быстро превратился в старом Чулковском дворе в городского мальчика. В этом мне помогли сверстники-аборигены Третьей Мещанской улицы. Прежде всего, они научили меня правильно, по-городскому, говорить, произносить слова. Я даже и теперь помню, как однажды меня поправил Колька-Слепой, когда вместо слова «милиционер» я сказал – «минцанер». С одного раза и на всю жизнь я запомнил правильное произношение этого слова. А Слепым моего учителя – Кольку – называли потому, что его отец и мать были незрячими. На московском дворе я скучал по деревенским играм, но зато быстро усвоил правила новых игр, например, в казаки-разбойники; быстро научился кататься на коньках, прикрученных на валенки, и на лыжах. Очень быстро увлекся азартом игры в хоккей и футбол на нашем заднем дворе.

Со двора вместе с друзьями мы выбегали за ворота на нашу Третью Мещанскую с бульжной мостовой и по вечерам освещавшуюся еще газовыми фонарями. Я запомнил, как по вечерам, в начинающихся сумерках на улице вдруг появлялся невысокий мужичок с лестницей. Он шел от столба к столбу, подставлял лестницу, взбирался по ней к стеклянному фонарю и зажигал, как мне тогда казалось, белую свечку. А это была газовая горелка. Она с шипением загоралась. А фонарщик, закрыв дверцу фонаря, спускался вниз и исчезал со своей лестницей в темноте еще не освещенной им уличной дали.

Напротив нашего двора-дома находился Корзинкин двор. А налево от нашего двора на углу Самарского переулкa стояла Бабухинская (ранее называемая Екатерининской) больница. Сейчас она называется странным именем МОНИКИ – Московский областной научно-исследовательский клинический институт.

За Бабухинской больницей, вдоль Орловского переулкa, простирались тогда больничные огороды. На эти огороды, когда я стал школьником, учителя нас водили знакомиться с природой. Там они показывали нам капустных бабочек и гусениц и рассказывали, какой вред они приносят сельскому хозяйству.

За Бабухинской больницей Третья Мещанская выходила на Трифоновскую улицу и к Напрудным переулкам с домами купца Солодовникова. Здесь тогда была криминальная зона, куда с наступлением темноты случайным прохожим ходить было опасно. Там господствовали уголовные авторитеты и, может быть, была своя «малина». Подрастающую уголовную детвору здесь возглавлял свой атаман по кличке Король. Его боялись все мои сверстники. Он был жесток и мог обидеть любого из нас ни за что, если бы мы ему просто встретились на пути. А брат его Вяча был безногий. Катаясь на подножках трамвая, он однажды попал под колеса и остался без обеих ног, отрезанных по самые бедра. Старший брат был к нему трогательно нежен и заботлив. Он возил его зимой на санках, оберегал от всяческих обид и баловал его

самыми сладкими кусками от своей воровской добычи. Много лет спустя мне довелось вспомнить об этих двух братьях из криминального Напрудного переулка. Случайно встретился мне старожил из этого места, мой ровесник. Узнав друг в друге земляка, мы разговорились о знакомых и запомнившихся картинках детства. Он мне рассказал, что после того как однажды навсегда исчез из Солодовки главарь тогдашней воровской шпаны Король, его место среди воровской шпаны занял безногий брат его – Вяча. Авторитет его среди жулья был непререкаем. Он продолжал в страхе держать весь криминальный квартал. А себя, безногого, выдавал за инвалида Великой Отечественной войны. Был он красив лицом, широкоплеч. Надевал матросскую тельняшку с орденами и медалями. Его боялись, но ему и сочувствовали те, кто не знал истинной причины потери ног. Поэтому суда ему не устраивали и даже жалели. А он умело и хитро руководил воровским делом. В конце концов он помер. С его смертью тихо умерла и дурная слава Солодовки в Напрудном переулке.

Недалеко от Солодовки, на углу Третьей Мещанской и Банного переулка, в старинном доме с бельэтажем была библиотека имени А. С. Грибоедова. Преодолевая страх перед возможной встречей с Королем, мы все же ходили в эту библиотеку. Тогда-то я и узнал, что такое библиотека, зачем туда ходили люди и кем был человек, именем которого она была названа.

Ну, а в Банном переулке, конечно, были бани – мужские и женские, трех разрядов: третьего – самого дешевого, без сервиса, второго – для обычного сословия и первого – для состоятельных мещан, любителей парилки, банщицких услуг и банного пива. Перворазрядникам банщик за дополнительную плату делал массаж, подавал им простыни, вытирал их распаренные спины, нежно похлопывая при этом вдоль хребта. А женщины в баню ходили со своими эмалированными тазиками. Вместе с собой они брали и мальчиков. Вот и я впервые познакомился с банным заведением в женском отделении. Необычный банный шум, пар, горячая вода и мыло меня пугали, и я воспринимал это как неизбежное наказание. Но вот однажды в баню меня повел крестный – мой двоюродный брат. Он щедро после мытья напоил меня вкусным сидром, от которого Мама меня тщательно оберегала. После этого я с нетерпением стал ожидать, когда брат опять возьмет меня с собой. Сейчас Мещанские бани сохранились. Но они теперь, как и подобает, видимо, рыночному царству, стали местом удовольствий для банных гурманов, богатых людей. На рубль здесь уже не помоешься и не попаришься.

На том, левом от нашего двора, конце Третьей Мещанской, где она упиралась в Трифоновскую, стояла большая Трифоновская церковь. Сейчас она восстановлена только в древних своих формах.

А я помню церковь еще до реставрации, во время которой снесли ее большую часть. Сюда наша квартирная хозяйка Дарья Никаноровна Монахтина водила меня к причастию. А напротив церкви, на задах Виндавского вокзала, были дровяные склады, на которых по ордерам жителям выдавалась зимняя норма дров. Получить эти дрова было не просто. Начинали с того, что нанимали возчика. С ним хозяева квартир ехали на склад. А кладовщик все время норовил сбуть им осину да ольху. Получить березовые или сосновые двухметровые бревна стоило особой «уважки». Добычу привозили во двор к дровяному сараю, потом пилили, кололи и укладывали. Наши дома тогда отапливались только дровами, и у каждой семьи во дворе был свой дровяной сарай. В начале тридцатых годов предприимчивый человек свободную половину этого коллективного кирпичного сарая перестроил под жилье. Москва тогда пополнялась людьми из провинции, уезжающих от грехов и памяти прошлой жизни. Они осваивались в старых московских дворах, приспособив под жилье и старые дровяные сараи.

В стороне, противоположной описанному концу Третьей Мещанской улицы, то есть направо, при выходе из ворот Чулковки, стояла школа. В ней я начал свою учебу в 1932 году. В ней же училась моя старшая сестра. За школой стоял уже описанный мной дом дирекции фабрики Бодло с шикарными окнами, вестибюлем, мраморной лестницей и лифтом. А напротив этого дома был забор и два строения психиатрической больницы. Обыватели тогда называли

эту больницу Сумасшедшим домом. За забором, в небольшом парке гуляли, по нашим понятиям, сумасшедшие люди, и мы со страхом и любопытством рассматривали их через заборную щелку, а иногда, по неразумению и невоспитанности своей, кричали им пакостные слова. Да простит нас за это Бог!

На нашей стороне, за домом Бодло стоял мало чем приметный одноэтажный дом. Он и сейчас на своем месте, уже которое десятилетие стоит огороженный забором и лесами. С далеких детских времен я запомнил этот дом и фамилию ее знаменитого хозяина – артиста Михаила Семеновича Щепкина. Я умел уже тогда читать и смог самостоятельно прочесть надпись на мемориальной охранной доске. Дом уберегло время. Видимо, доска сыграла свою роль. Неоднократно возникали попытки убрать эту «деревянную рухлядь». Но доска, упоминавшая имя великого русского артиста, берегла дом. Его даже не сломали во время недавней реконструкции всего пространства между Третьей Мещанской, улицей Дурова и Самарским переулком в процессе строительства спортивного Олимпийского комплекса. Но на большее у московских властей не хватило сил и средств. Дом, вернее сгнивший его скелет, еще стоит, окруженный лесами и забором. Но теперь уж мало кто знает, что в нем когда-то жил великий артист, которого здесь посещал великий русский писатель Н. В. Гоголь.

Далее, за историческим Щепкинским домом, между Второй и Третьей Мещанскими улицами, слева высилась Серединская (митрополита Филиппа) церковь, а справа – высокий пятиэтажный многоквартирный жилой дом. Тогда это место называли странным названием – Чернятинка, наверное, тоже по имени хозяина-домовладельца. Сейчас этот дом сохранился. В его нижнем этаже размещены кассы Олимпийского стадиона.

От Чернятинки справа тянулся квартал рядовых домов. В одном из них родился и жил космонавт Комаров, очень скромный и симпатичный человек, с которым мне довелось быть знакомым в пору его предсмертной славы. В нем, во славе его имени, меня особенно порадовали простые и добрые человеческие качества.

Слева на улице и поныне стоит старый особняк в два этажа. В двадцатые-тридцатые годы этот дом охраняли грозные дяди с огромными маузерами в деревянных колодках. Здесь размещалось тогда Польское посольство. Потом, уже после войны, он стал Дворцом бракосочетания. Сейчас в нем расположились какие-то неизвестные простым людям структуры.

Перекресток Третьей Мещанской и Божедомки (ул. Дурова) именовался среди местных жителей простым словом «Часть», С XVIII века это место именовалось Мещанской пожарной частью. Я помню, как в детстве из ее депо выезжали пожарные машины с пожарными в медных касках, со звоном сигнального колокола и пением трубы. Дух захватывало, когда две машины красного цвета с сиянием медных шлемов и оглушающим звоном автоклаксона и медной трубы проскакивали на пожар мимо застывших от испуга прохожих.

На Божедомке мне запомнился еще большой гастрономический магазин в доме, в котором жил добрый мой доктор Гуревич. А напротив этого дома была больница, куда Мама меня водила несколько раз на рентген. Смысл этого посещения мне был непонятен, но связан он был с моими очередными простудами. Мама водила меня туда с понуканиями и обычными материнскими угрозами о наказании, если я еще раз заболею.

Дальше, за пределы Третьей Мещанской, я ходил редко. И этот конец нашей улицы, вплоть до Садово-Самотечной, был мне ничем не памятен.

Все, что я сейчас написал о Третьей Мещанской улице, вспоминается и видится глазами того далекого мальчика, только что приехавшего из деревни. Мне тогда еще снились наш деревенский дом с сиреневым палисадником и садом, корова Рябка и собака Шарик на цепи у амбара. Во сне я кричал на него, когда он пугал наших кур и гусей. Во сне я скликал их и будил всех домашних. А днем я вбирал в себя новые впечатления городской жизни. Теперь Третья Мещанская называется улицей Щепкина, но в ней улицы моего далекого детства я не узнаю. Надо ли было менять ее название? Дом Щепкина уже не одно десятилетие загорожен забором.

Прохожие не видят за ним мемориальной доски и никак не связывают ее современное название с именем великого русского артиста.

\* \* \*

Во дворе Пулковского дома по Третьей Мещанской, номер 53, наша семья в составе шести человек проживала на положении временных жильцов без постоянной прописки на жилплощади здешних квартиросъемщиков. От первых хозяев – Никифоровых – мы перебрались в двухэтажный деревянный флигель, на квартиру тоже старожилов двора, Монахтиных. Здесь нам была предоставлена темная (без окон) комната, в которой шести человекам уместиться было невозможно. Старшие братья обычно на ночь устраивались в коридоре или на кухне. Хозяева наши были неплохими людьми, но больших удобств они, однако, предоставить нам не могли. Это не помешало тому, чтобы дружба между нашими семьями продолжалась многие десятилетия до конца жизни и хозяев, и наших родителей. Более того, она была скреплена родственными отношениями. На одной из дочерей главы семьи наших квартирных хозяев – Константина Михайловича Монахтина женился племянник моего Отца Георгий Александрович. Таким образом, линия нашего левыкинского рода получила продолжение в сочетании с московской фамилией Монахтиных из Чулковского дома.

Константин Михайлович Монахтин был высококвалифицированным портным-закройщиком мужского верхнего платья. Как многие мастеровые, он имел слабость к спиртному. Жена его Дарья Никаноровна всякий раз во время обострения этого пристрастия чутко улавливала критический момент и находила радикальные возможности предотвращения последствий. При ее участии дядя Костя быстро приходил в себя. От увлечения спиртным жена его не вылечила, но и не позволила превратиться в безнадежного пьяницу.

У дяди Кости постоянно была приличная клиентура. Работа обеспечивала семье достаток. А Дарья Никаноровна, будучи его второй женой, помогла ему вырастить трех дочерей-сирот – Веру, Елену и Антонину. Младшей из них и суждено было стать Левыкиной. Клиентами дяди Кости со времени стали мои братья, а за ними и я. Пальто для нас родители заказывали ему. Под хмельком он, принимая заказ, приговаривал: «Старик обо всех печалится, обо всех заботится и всем сделает хорошо». Слово свое он сдерживал. Первое мое модное пальто из серого польского драпа он скроил и сшил весной сорок первого. В нем я сразу стал взрослым здоровым парнем с широкими плечами и крепкой мужской фигурой. Глядя на меня в этом пальто, осенью сорок первого ответственный работник Московского обкома комсомола признал меня годным к боевой службе в истребительном мотострелковом полку.

Итак, с семьей Монахтиных у нас завязалась долгая и прочная дружба, но прожили мы у них недолго. В темной комнате жить было невозможно. И мы переехали в квартиру напротив в том же доме, хозяевами которой была семья Ивановых. При нашем бедственном бесквартирном положении нам все-таки везло на добропорядочных квартирных хозяев. И в новой квартире нас встретили приветливо. За небольшую плату они предоставили нам тоже небольшую, в девять квадратных метров, комнату, но уже с окном. В нее вошел наш буфет, стол и родительская кровать с сундуком, привезенные из деревни. На ночь и стол становился спальным местом. Одному из братьев спать приходилось на раскладушке в большой хозяйской проходной комнате.

В 1931 году старшие братья закончили учебу в техникуме и Александр по распределению уехал на Алтай, в Ойротию на строительство автодороги. А другой получил ближнее назначение в город Кашин. Наше квартирное перенаселение, таким образом, ненадолго разрядилось. Мы быстро освоились и подружились с новыми хозяевами.

Их глава – дед Василий Илларионович Иванов – тоже оказался мастеровым. Он был сапожным мастером, мог чинить старую и шить новую обувь. Однако он скрывал свой промы-

сел от фининспектора. Официально он работал ночным сторожем какой-то автобазы в центре Москвы. Вечерами, через сутки, он снаряжался на ночную сторожевую службу, надев военную шинель, подпоясанную широким кожаным ремнем, и сразу превращался в отставного седую солдата, бодрого и подтянутого, несмотря на возраст. Дед Василий, однако, не был в семье главным. Фактически главой семьи была его жена. К сожалению, я не помню ни ее имени, ни отчества. В обиходе соседи звали ее, за глаза, бабкой Иванихой. Во внешнем облике ее, да и в поведении было что-то цыганское. Может, она и была цыганкой. Речь ее, убедительная и уговаривающая, не оставляла сомнений в этом и убеждала в беспрекословном выполнении сказанного. Она была не очень ласкова к взрослым сыновьям и всегда больше заботилась о себе. Деда своего она тоже не жаловала, чай обычно пила одна и чайными прикусками предпочитала не делиться. Я ее побаивался, хотя ничего плохого она мне не делала и словом не обижала. С моими родителями за их покладистость она была в ладу. Ладили мои братья и сестра и с детьми наших хозяев. У них было три сына и две дочери. Семья жила обычным мещанским укладом. Все, кроме хозяйки и младшей дочери, еще школьницы Нади, работали. Общественные интересы здесь никого не увлекали. Радио тоже еще не проникло в наш Пулковский двор. Газет хозяева не выписывали. Они их и не интересовали. Комсомольские лозунги до сыновей – братьев тоже не доходили. Один из них – старший, Николай, работал в типографии на Переславке гравером. Но однажды его вдруг арестовали и осудили на большой срок. Оказалось, что осужден он был за участие в изготовлении фальшивых денежных купюр-червонцев. В этом преступном деле пригодилась его профессия гравера. Производство купюр было пресечено буквально на первых нескольких экземплярах, а срок наказания вышел ему немалый – 10 лет. С тех пор ни я, ни родители Николая так и не увидели его живым. Перед арестом он успел жениться на красивой девушке из семьи деревенских беженцев от коллективизации, Кочегаровых, которые тоже успели обосноваться на Пулковском дворе. Но жизни семейной не получилось. Пернобровый, красивый и статный брюнет Николай Иванов навсегда ушел по этапу из памяти родных и соседей по двору. Из заключения он не вернулся. Второй сын наших хозяев, Владимир, вовсе был непородистого вида, невысок ростом, простоват лицом, букву «р» выговаривал по-еврейски. Работал он электромонтером. Был он очень добр, а имея профессию электромонтера и вовсе был полезен всем соседям. Он охотно откликнулся на просьбы сделать электропроводку, заменить перегоревшие пробки и устранить неполадки в несложном квартирном электрооборудовании. Уже в начале тридцатых годов Володя был женат и имел двоих детей. Жена его Полина родом была с недалекой Селезневской улицы и тоже из московской мещанской семьи. Таких, как она, сейчас по внешности считают сексуальными женщинами. А по старым понятиям она была просто гульливой бабенкой. Володя ревновал ее к бывшим селезневским женихам. Может быть, для этого у него были основания. Наши соседи по дому тоже судачили о поведении Полины. Вспоминая эти пересуды, я сейчас, между прочим, не помню ни одного конкретного случая ее нехорошего поведения. Может быть, Володя для нее был слишком прост и не соответствовал ее девичьим грезам. Может быть, она мечтала о другом счастье. Она часто ходила на Селезневку к своим родителям. Там ее не очень-то привечали. А Володя ревновал. Тем не менее Полина родила ему двоих детей. А хозяйство домашнее она вела с неохотой и очень неряшливо. Жили они с Володей своей семьей, отдельно от родителей. Им была выделена комната. В ней всегда было плохо прибрано. Обед мужу Полина готовила без всякого искусства и фантазии. Детьми она тоже занималась неохотно. Они росли сами по себе и больше ласки и заботы получали от моей Мамаы. А Володя, несмотря ни на что, Полину любил и был ей предан. Детей своих, впрочем, он тоже очень любил, особенно сына Кольку. Он потакал его детским шалостям, поощрял его смелые проказы, и Колька рос очень подвижным, способным на непредсказуемые поступки. За это дед прозвал его атаманом. Кличка эта закрепилась за ним на всю жизнь на нашем Чулковском дворе. По возрасту Колька был на год-два моложе меня. Я с ним дружил, как с младшим товарищем. В самом начале войны отец

ушел на фронт и тогда же погиб. Успел на войну и его сын, и вернулся с нее Колька-атаман с орденами и медалями, как и его дядя Алексей, третий сын наших хозяев.

Лешка Иванов был ровесником моего брата Александра. Они дружили. Дед Иванов, гораздый на клички, прозвал их «гвоздками». Их имена по двору звучали как Лешка-Гвоздок и Сашка-Гвоздок. По интересам-то они были разными. Мой брат учился в техникуме, а Лешка, как и Володя, тоже «монтерил». Но по двору оба Гвоздка дружили, вместе играли в хоккей, ходили на футбол и на каток в наш сад-стадион «Профинтерн». Но была у Иванова Алексея своя особая страсть – голуби. Он держал большую партию породистых голубей. Были у него и почтовые, и монахи, и чистые, и черночистые, и турманы, и всякие другие масти, которых я теперь не помню. Для голубей на заднем дворе Лешка построил большую голубятню с просторным нагулом. По выходным он с большим азартом гонял свою стаю. А мы ему помогали и свистом, и бегали по крышам сараев, сгоняли с них ленивых голубей, махая руками и шапками. С голубьями Лешку подстерегала вечная опасность кражи. На жаргоне голубятников «украсть голубей» значило, коротким словом, их «снять». Я помню, что было несколько случаев, когда из нашей, Лешкиной, голубятни «снимали» самых лучших голубей. И тогда Лешка начинал их искать. Он знал своих соперников-голубятников и у них находил своих питомцев. Однажды мы с Мамой были на работе у Отца в Марьиной Роще. На улице мы неожиданно встретили Лешку. Здесь, в каком-то Марьинском проезде он нашел своих питомцев, сумел их отобрать у вора, и мне посчастливилось помочь ему везти их домой. У меня за пазухой, к моему великому восхищению, грелась пара белых-белых голубей. Они ворковали у меня на груди, а я изо рта кормил их разжеванным печеньем. Иногда Алексей устраивал своим почтовым питомцам испытание: он отбирал несколько птиц, сажал их в садок и увозил куда-нибудь за город. Там он выпускал их на волю и ехал домой. Голуби всегда находили дорогу домой и радовали хозяина своим воркованием, сидя к его приезду на нагуле. А однажды Лешка сделал специальный ящик, обтянутый сеткой, и поселил в нем почти всю стаю. Потом он сдал этот ящик в багаж на адрес нашей деревенской станции Бастыево и тем же почтовым поездом приехал на эту станцию. Мы встречали его, будучи предупреждены заранее письмом и телеграммой. Поезд прибыл утром. Голубей выгрузили. Все они оказались целы и в добром здравии. Хозяин покормил их, напоил и, выпустив из клетки, взогнал их в наше высокое бастыевское небо. Голуби покружили над нами, набрали высоту и удалились в голубую даль на север. Вся партия благополучно долетела до Москвы и нашла свой нагул в голубятне на Чулковском дворе. Об этом хозяину сообщили телеграммой его товарищи. Погостив у нас несколько дней, Алексей поездом уехал в Москву. Страсти своей Лешка не изменял никогда, но у него были и другие побочные увлечения: он собирал пластинки с записями Лещенко, Ляли Черной, Тамары Церетели. Любил он слушать романсы и все слова их и мотивы знал на память и иногда по вечерам в компании друзей, во дворе, напевал под гитару. Была у Лешки мелкокалиберная винтовка. Он сумел украсть ее в тире на стадионе «Профинтерн» и тайно прятал. Говорил, что винтовка нужна ему для охраны голубей. А однажды – я случайно оказался тому свидетелем – Алексей поменял у парня с соседнего Корзинкиного двора свою винтовку на револьвер. Назначение этого оружия я тогда оценить не мог и очень удивлялся этому обмену. Винтовка была много красивее тупорылого револьвера-бульдога. По-моему, это оружие Алексею не понадобилось: вором и бандитом он становиться не собирался. Война позвала его в числе первых, там ему выдали другое оружие. С фронта он пришел старшим лейтенантом. Старики-родители к этому времени еще постарели. В доме старшего брата Володьки оставалась вдова Полина. С ней и сошелся вчерашний фронтовик. Вскоре вдова забеременела и от аборта умерла. А у Лешки нормальная жизнь дальше не пошла: снова стал монтером и потихоньку на калымных, халтурных рублях стал спиваться. Кончилось все белой горячкой и не отпетой смертью. Хозяином же в квартире оставался вернувшийся с войны Колька-атаман. Но и у него и жизнь, и конец ее оказались такими же, как и у дяди. Семья Ивановых, таким образом, исчезла. Старшая из двух

сестер – Анна, единственная в нашем дворе партийка и выдвиженка, в годы войны умерла. Ее старший сын, Мишка, встречался мне еще в пятидесятые годы в винном магазине на Ярославской улице, в среде алкашей. Слышал я, что он умер от алкоголизма. А младший – Колька, мой одноклассник, в годы войны был судим и расстрелян за бандитизм. Осталась в живых из семьи Ивановых младшая дочь – Надя. Но она давно исчезла из поля моего зрения, и никто не напомнил мне о ее судьбе.

В квартире Ивановых в Чулковском дворе мы прожили почти три года. В 1933 году Отец получил комнату в фабричном общежитии от чулочной фабрики имени Ногина, где он работал, за недалекой Крестовской заставой. Наша семья наконец обрела свое пристанище в виде одной комнаты в девятнадцать квадратных метров на шесть человек. Мои старшие братья к этому времени вернулись в Москву после отработанного по окончании техникума срока по распределению. Но связь с Чулковкой не была прервана сразу. Там оставались жить наши родственники Монахтины и Левыкины. Целый год каждый день я ездил на Третью Мещанскую в школу номер 15, в первый класс которой я пошел в 1932 году.

\* \* \*

День окончания моего школьного детства я отчетливо помню. А вот день его начала запомнился нервной суетой Мама и моими переживаниями по поводу записи в школу. В лето 1932 года мы, то есть я, моя сестра и Мама, возвратились из деревни, кажется, 30 или даже 31 августа. Трудно оказалось нам выехать несколькими днями раньше. Что-то плохо было тогда с поездами. Где-то произошло крушение. Поезда пошли с перерывами, не по графику. Они были переполнены возвращающимися с мест отдыха к началу учебного года. Впрочем, ничего нового в этой ситуации не было: так тогда случалось часто, да и теперь происходит что-то похожее. Нам с Мамой следовало бы собраться к отъезду на два-три дня пораньше. Но мы этого не сделали, и 1 сентября 1932 года я в школу не попал.

Вероятно, и тогда, как и сейчас, это событие отмечалось каким-то ритуалом. Во всяком случае, родителям и детям того года этот день запомнился заботами. Наверное, дети-первоклассники шли в школу с новыми сумками-портфелями, в новой чистой одежде. Не уверен, что кто-нибудь из них шел с цветами. По-моему, цветы тогда не приносили, как сейчас. Но уверен, что у входа в школу детей встречали директор и учителя, и ребятишек строили в линейки и разводили по классам. Потом этот порядок я наблюдал каждый год. Но 1 сентября 1932 года я этой торжественной суеты не пережил: в тот день мы с Мамой бегали из школы в школу, и меня нигде не принимали, так как школы были переполнены, и, как лишних, нас отказывались принимать. Несколько дней подряд Мама с утра брала меня за руку и начинались наши хождения по ближним и дальним улицам, из двери в дверь, из кабинета в кабинет. Тогда-то у меня и сложилось представление о строгих директорах, и долгое время после этого я их опасался. Мама просила, упрашивала, объясняла причину опоздания, но все они оставались строго и равнодушно непреклонными; мне казалось, что моя судьба была им безразлична. Школы были переполнены.

Опоздавших некуда было сажать. Наконец, мы пришли в какой-то особый дом, где было много кабинетов, в которые сразу нельзя было заходить. Случалось, мы приоткрывали дверь в один из них, а оттуда раздавался недружелюбный голос. Нас посылали в другую дверь, а от нее к следующей. Но в одной комнате все-таки оказался добрый и внимательный человек, он спокойно, глядя поверх очков на Маму и на меня, выслушал наши объяснения, а потом спросил, где мы живем. Услышав наш адрес, он взял листок, что-то написал и отдал Маме, а мне сказал, чтобы я хорошо учился. Других напутствий я больше ни от кого тогда не услышал. А на следующее утро Мама повела меня в школу, которая находилась рядом с нашей Чулковкой.

Выйдешь из ее ворот и сразу же направо. Это была школа № 15 Дзержинского отдела народного образования (в аббревиатуре – ДОНО).

Мы пришли в приемную директора. Тогда им был Георгий Михайлович Орлов – известный в нашей стране педагог. В этом качестве он стал известен много лет спустя, а в то школьное утро мне не пришлось его увидеть. Нас принял другой, тоже известный среди московских учителей человек – заведующий учебной частью Антон Павлович Туш. Он был толстый, лысый, очень подвижный и неожиданно добрый человек. Я тогда удивился его доброму и веселому взгляду и долго потом недоумевал, почему же он сразу не принял меня в школу? Мама подала ему бумажку от доброго дяди из вчерашнего казенного дома. Он прочитал ее, а потом взял меня за руку и повел в класс. Там уже шел урок, и учительница что-то писала мелом на доске. Она мне не понравилась. Вид у нее был странный, я бы сказал, не очень опрятный. Юбка висела на ней наперекосяк. Кофта, несвежего вида, тоже как-то неудобно свисала с ее плеч. Роста она была невысокого. Помню еще ее совсем не городское лицо, простоватое и красное, и беспорядочную прическу из будто бы немых волос.

Антон Павлович что-то ей сказал. Она кивнула в ответ, взяла меня за руку и посадила третьим за парту, где-то в середине класса. Потом она вернулась к доске и стала опять писать и что-то объяснять. Я ничего не понимал, и долго потом на уроках я никак не мог догнать одноклассников в умении понимать и решать. Читать и писать я научился еще до школы, но тут возникла какая-то оторопь. За партой сидеть было тесно, писать на ней было неудобно. Палочки и крючки, а потом и буквы в моей тетради получались некрасивыми. А когда стали писать чернилами, появились кляксы, которые я пытался стереть пальцем. От неудач в школу мне ходить расхотелось. Наверное, тогда я был обречен стать бесперспективным для учителей удочником, т. е. троечником. Конечно, таких, как я, в классе было еще несколько человек. С тех пор я почувствовал традиционное школьное неравенство. Из общей среды сразу выделилась группа отличников и благополучных и группа незадачливых, отстающих, ленивых и, соответственно, недисциплинированных учеников. Группа эта складывалась по различным причинам и поводам. В ней оказывались отнюдь не только нерадивые и недисциплинированные. Было и так, что в число бесперспективных попадали и ученики, не лишенные способностей и даже таланта. Но их почему-то не замечали учителя, однажды определив их туда по каким-то случайным фактам неудач. Они попадали в этот общий серый разряд. Я замечал эту учительскую несправедливость не только на себе. Мне всегда хотелось быть отмеченным похвалой. Я старался. Но учитель будто бы мне не верил и редко ставил мне оценку выше «уд.».

Много лет спустя, когда уже мой младший сын пошел учиться в ту же школу, в которой окончилось мое детство, я снова столкнулся со знакомой мне профессионально-несправедливой самоуверенностью учителя в оценке способностей и возможностей доверенного ему ребенка. Помню маленькую, симпатичную учительницу с грузинской фамилией – классного руководителя моего Алексея. Ее нельзя было упрекнуть в невнимательности к детям, в незнании своего предмета. Она уже имела опыт педагогической работы. И, к сожалению, уже успела унаследовать профессиональную безапелляционность оценок, свойственную учителям. Как-то однажды на родительском собрании она мне спокойно сказала: «Ваш Алеша очень хороший мальчик. Он очень старается. Но выше тройки он не поднимется». Почему она так уверенно охарактеризовала ребенка, который только-только стал делать самостоятельные шаги в учебе? Она обязана была научить его преодолевать непонятное и выполнять все ее задания. Вместо этого она безоговорочно определила такую серую перспективу «хорошему мальчику Алексею». Я не стал тогда спорить с ней. Но сам сделал все, чтобы получить от сына совсем другой результат. И мне это удалось. Сам же я из разряда непутевых троечников сумел выйти в прилично успевающие с помощью других учителей, которые сумели по-иному оценить мои возможности. Правда, меня никто из учителей не приговаривал так сурово, на всю жизнь. В сентябре 1932 года я пошел учиться в 15-ю школу ДОНО, и все у меня было впереди.

Имя, отчество и фамилию своей первой учительницы я не помню. Мне даже кажется, что я не успел этого узнать потому, что учила она нас недолго. И все же образ ее мне запомнился довольно отчетливо. Какая-то она была неустроенная, неухоженная и растрепанная. Однажды она пришла к нам домой, чтобы познакомиться с моими родителями. Я помню, как Мама угощала ее чаем. Они долго разговаривали, и вдруг выяснилось, что учительнице негде было ночевать. Просто она не имела постоянного места жительства. По тому, как Мама ей сочувствовала, я понял, что ей пришлось покинуть родные места по какой-то несправедливой причине. Многим в те годы пришлось покидать и родные края, и родные очаги, и родителей своих. В тот вечер учительница осталась ночевать в нашей маленькой комнатке в квартире Ивановых на Пулковском дворе. Как сейчас помню, Мама устроила ее спать на полу. И еще мне запомнился серый прорезиненный плащ, в котором ходила учительница и которым тогда она укрылась вместо одеяла. Утром она поспешно собралась и ушла. Где уж тут было заниматься туалетом? Недолго она учила наш класс. Видимо, не нашла она тогда приюта в наших Пулковских окрестностях, и судьба повела ее дальше на его поиски. Мамина женская жалость к ней тогда передалась и мне, и это чувство мне памятно до сих пор. Может быть поэтому я не забыл мою первую учительницу, хотя от ее уроков воспоминаний почти не осталось. Остались в памяти сочувствие и жалость к ней. Какая беда обрекла ее на скитания? Нашла ли она свой приют в тогдашней сложной жизни? Помог ли ей кто-нибудь, как моя Мама?

Мои первые результаты в учебе оценивались тогда на уровне «удочки». Знания в школе в те начальные тридцатые оценивались отметками: «Очень хорошо» (очхор.), «Хорошо» (хор.), «Удовлетворительно» (уд.), «Плохо» (пл.) и «Очень плохо» (очплох.). Иногда я получал и «хоры» – по чтению и арифметике. А по письму выше «уд.» было очень редко. Одолевали не только ошибки, но больше всего – кляксы. Пальцем я, как и другие мои товарищи-мазилы, стирал их до дырок на тетрадном листе. И вид у моих тетрадок тоже был неприличный. Почему-то все время загибались в трубочку уголки обложек. Спустя много лет, глядя на тетрадки моих сыновей, я вспоминал себя. Они тоже, как и я, очень хотели быть примерными и аккуратными. Но их стараний хватало на первые тетрадные странички. А потом начинались те же стирания огрехов пальцем. Клякс у них не было. Чернилами в школе уже не пользовались. Но типичные ошибки оставались. В моих отметках «плохо» и «очплохо» были редкими, их почти не было. Но «удочки» меня донимали. Я очень хотел от них избавиться, но до пятого класса мне это не удавалось. Однажды нашим новым учителем стал Владимир Иванович – строгий, неприступно строгий молодой человек. Однако мы все его сразу очень полюбили. Наверное, тогда он был не только молод, но и холост. Думаю, что профессию он выбрал по призванию, потому что очень много времени уделял нам и на уроке, и после уроков. Он водил нас на огороды Екатеринбургской больницы на уроки природоведения, а на Екатерининский бульвар водил смотреть верблюда и пони.

В одном из затемненных классов с помощью волшебного фонаря он показывал нам картинки про бедных негров, которые жили в стране со странным и непонятным названием САСШ. С ним мы разучивали к праздникам стихи и песенки:

Мы веселые ребята.  
Раз, два!  
Наше имя октябрята.  
Раз, два!

Или:

Возьмем винтовки новые,  
На штык – флажки.

И с песнею веселую  
Пойдем в полки.

Стихи я тоже заучивал с трудом. Легче запоминалось:

Белый снег, пушистый,  
В воздухе кружится  
И на землю тихо  
Падает, ложится.

Но однажды было задано такое стихотворение, которое я заучивал с большим напряжением и, заучив, никак не мог понять его содержание. Оно было про Туркестано-Сибирскую железную дорогу. Я заучивал с помощью старшего брата, который требовал, чтобы я читал с «выражением». Очень упорная была эта работа, «выражение» не получалось. Брат требовал бесконечных повторений, часто прибегая совсем не к педагогическим приемам. На всю жизнь я запомнил первую строчку этих индустриально-аграрных, железнодорожных стихов:

В Туркестане хлопок растет,  
А в Сибири растет пшеница.

Слово «пшеница» я упорно произносил на нашем, деревенском наречии: «пашаница». Так оно удобнее рифмовалось и «выражалось». Брат нервничал, но все-таки ему удалось довести до моего сознания главную идею стихотворения – значение только что построенной Туркестано-Сибирской железной дороги в укреплении дружбы народов и в создании «единого народно-хозяйственного комплекса». Тут я, конечно, прибегаю к терминологии более позднего времени, так как не помню тех слов и определений, которыми пользовался мой домашний наставник – старший брат. Зато таблицу умножения я выучил очень легко и быстро. Не всем моим братьям по «удочкам» это удавалось сделать с первого захода. А у меня от зубов отскакивало: «Пятью пять – двадцать пять, а семью семь – сорок девять».

По арифметике у меня был «хор». И по чтению мне было легко. Еще до школы я умел читать не по слогам. Книгу для чтения я одолевал без труда. Но однажды случилась беда. Одну страницу книги я целиком залил чернилами. Много из-за этого пришлось мне пережить. Во-первых, я боялся, что это увидит Владимир Иванович, и я даже не представлял, какое последует наказание. Я старался, чтобы эту страницу не увидела соседка по парте и не наябедничала. Нервы мои были на пределе, когда приходилось раскрывать этот учебник. А когда подошла пора читать текст на измазанной, залитой чернилами странице, то я заранее, по учебнику друга, выучил страничку наизусть и читал ее по вызову учителя громко и бегло, делая вид, что пальцем вожу по тексту. Тайны моей так никто не узнал. В конце учебного года я сдал эту книжку, и никто не заметил огромной чернильной кляксы. Но испытанную тогда тревогу и чувство ответственности я помню и сейчас. Может быть, с тех пор в сознание мое, так же как и в сознание моих сверстников, по другим поводам и причинам навсегда внедрилось чувство общественной ответственности, которое стало неотъемлемым качеством большинства рядовых граждан нашего советского государства. Я помню, что и тогда, в неудачливую пору, я хотел быть хорошим учеником. Мне очень хотелось, чтобы за это меня похвалил Владимир Иванович. Не скажу, что он обделял меня своим вниманием, но «хорошистом» у него я так и не стал. Тогда большую благосклонность я решил завоевать у него другим способом. Правда, это было связано отнюдь не с желанием получить более высокую отметку. Причина была другая. Иногда в школе по классам распределяли ордера на детский ширпотреб, главным образом обувь и одежду. Это были льготные ордера детям из нуждающихся семей. Я не входил в эту катего-

рию. Но мне очень хотелось получить ордер и порадовать им Маму. Но Владимир Иванович раздавал ордера, не принимая меня ни в какой расчет. И тогда! И тогда я решил подарить ему наше деревенское огромное антоновское яблоко, которое Мама давала мне с собой в школу. Реакция Владимира Ивановича на этот мой поступок была в моем понимании жестокой: он очень строго поглядел на меня, и я навсегда расстался с мечтой о персональной благосклонности с его стороны.

В пятнадцатой школе ДОНО на Третьей Мещанской я проучился два года – в первом и втором классах. В 1933 году мы переехали на новое место жительства за Крестовскую заставу, в дальнюю окраину Москвы, которая в то время еще не утратила подмосковного сельского вида. Вблизи нашего дома стояли две маленькие школы, расположенные в деревянных двухэтажных домах. Поступить в них не было никакой возможности, поскольку они были переполнены. И целый год, уже учась во втором классе, я каждый день, во вторую смену, ездил на трамвае в свою пятнадцатую на Третью Мещанскую. Теперь, в нынешние, конца XX века, годы тоже часто можно видеть малолеток с ранцами, кочующих на метро и в троллейбусах с одного конца Москвы на другой. Но теперь это происходит по другой причине. Родители выбирают для детей особые, престижные школы, заботясь об обеспечении им более высокого уровня образования. Я скептически отношусь к этой родительской блажи. Мои дети учились в обычной школе, в той же, где учился и я. Зато она была рядом с домом. Я-то знаю, какими издержками могут закончиться ежедневные путешествия детей по Москве. До сих пор с запоздалым, тяжелым чувством личной опасности я вспоминаю свои поездки на трамвае в школу и, особенно по вечерам, из школы. Ехать-то надо было довольно долго и далеко.

\* \* \*

Квартиру-комнату в деревянном, собранном из дощатых щитов, доме, за недалекой Крестовской заставой родители восприняли как наконец выпавшее нам счастье. А я загоревал. Не хотелось мне уезжать с Чулковского двора, от друзей, от нашего дворового быта, к которому я уже успел привыкнуть. Я загоревал еще больше после того, как в первый раз с Мамой и сестрой побывал на месте нового жительства. Мы долго туда ехали на трамвае. То ли от неохоты туда ехать, то ли от давки в переполненном вагоне, но дорога в тот раз показалась мне очень долгой. Да и трамваи тогда по качающимся рельсам ехали медленно. А за Крестовскими башнями» на узком мосту» встречные трамваи разъезжались по одному пути. И по обеим концам» перед мостом, собирались вереницами в очередь, ожидая, когда пройдут встречные. Этот старый мост сохранился и по сей день. А вот башен Крестовских водонапорных нет с 1939 года. Тогда их взорвали и убрали с проездного пути на новый Крестовский мост-путепровод. Сейчас транспортный поток с бывшей Первой Мещанской после последнего светофора у Рижского вокзала быстро выскакивает на широкую, просторную магистраль, ведущую в район знаменитой Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). А тогда, в тридцатые годы, конец Первой Мещанской у Крестовской заставы был и концом города. Дальше за железнодорожными путями Октябрьской дороги начиналась совсем непохожая на Москву ее дальняя северная окраина. Трамваи, автомобили, ломовые и легковые извозчики, долго ожидавшие своей очереди, пропуская встречный транспорт, медленно и осторожно, чтобы не задеть друг друга, ехали-ползли по узкому, дугообразному мосту мимо Пятницкого кладбища, рядом с ним, выезжая у Дробильного завода на узкое, выложенное булыжником Ярославское шоссе. А трамваи еще более медленно, раскачиваясь на рельсах, как на волнах, двигались справа от шоссе. Быстро им ехать по этим рельсовым качелям было нельзя. Вагоны часто сходили с рельсов. И тогда по всей трамвайной линии, вплоть до Сухаревской площади, вагоны выстраивались в очередь в долгом ожидании, пока аварийная бригада с помощью домкратов и рычагов не ставила вагон на рельсы. В этих случаях пассажирам проще и быстрее было добраться до нужного

места пешком. Вот и мне приходилось часто зимними вечерами, после уроков, добираться до дома пешком. Мама, конечно, волновалась. Но я с пути никогда не сбивался.

Ярославское шоссе и Закрестовскую окраину начала тридцатых годов я запомнил с той весенней поездки на Суконную улицу, где был построен для нас и для девушек-работниц фабрики имени Ногина двухэтажный восьмиквартирный щитовой дом без коммунальных услуг.

По правую и левую сторону Ярославского шоссе, от Дробильного завода и до Ростокино, тянулись в ряд деревянные одно- и двухэтажные дома. В некоторых из них, как и на всякой выездной городской окраине, были торговые лавки, кузни, шорные и другие ремонтные мастерские для конно-гужевого транспорта, отправляющегося в далекий и недалекий загородный путь. А за домами тянулись огороды. Сразу за нашей остановкой – «Суконная улица» – слева от шоссе и вовсе простирались поля совхоза имени И. В. Сталина с рядами кочанной и цветной капусты, свеклы и брюквы.

Суконная улица, на которой теперь нам предстояло поселиться, оказалась совсем недлинной. На ней по разные стороны стояли по 5–6 бревенчатых домов, с сиреневыми палисадниками, с заборами-частоколами, с воротами, калитками и огородиками внутри дворов. В некоторых дворах в сараях мычали коровы, а в каждом из них кудахтали куры и орала петухи. Улица была не мощеная, а потому в сырую погоду – непроходимая. В этом я сразу убедился, оставив в вязкой грязи свои новые калоши, когда мы переходили на другую сторону. Тротуары обозначались канавками, по которым вниз по улице стекала черная и вонючая вода со двора фабрики, именем которой наша улица и называлась. Но оказалось, что фабрика эта вовсе была не суконной. Может быть, раньше она и была таковой, но теперь на ней обрабатывались и красились меха – кроличьи, а может быть даже кошачьи и собачьи. Справа, посередине улицы, между домами высились высокие ворота Ярославского колхозного рынка. Совсем недавно, еще до нашего переселения, сюда переехали мелкие торговцы, жулики и воры со знаменитого Сухаревского рынка.

В конце Суконной улицы тогда стояла огромная лужа, невысыхающая даже в жаркое лето. Вода в ней была вонючая и черная от стекающего сюда с фабричного двора ручья. На берегу этой лужи, отражаясь в ней, возвышался отдельно стоящий дом в полтора этажа. Наверное, когда-то этот дом был красивым, с мансардой и башенками. Но теперь он был какой-то ободраный, с заплатами на крыше и облупившейся штукатуркой. Этот дом принадлежал известной здесь семье Власовых, с младшими членами которой я вскоре познакомился. А в день первого приезда сюда я увидел их на плоту посередине грязно-черной лужи. А дальше, за лужей, стояли дома-новостройки и штабеля бревен и досок для тех, которые еще не были построены. Огромный пустырь за лужей осваивался в начале тридцатых годов переселенцами из разных областей, краев и республик России.

Стандартными одно- и двухэтажными домами, преимущественно барачного типа, в это время застраивалось все пространство с концов коротких улиц, спускающихся от Ярославского шоссе к пустырям, до Сокольнического леса. Вдоль его опушки в два ряда, образуя улицу, которая теперь называется именем Павла Корчагина, а тогда – Мазутным проездом, выстроились наиболее благоустроенные, хотя тоже деревянно-щитовые дома городка «Метростроя». В этих домах жили семьи инженерно-технического персонала строителей Московского метро. В городке были предусмотрены особые удобства для этих особых жителей. Специально для них на Ярославской железной дороге была построена платформа, которая сначала называлась «Пятая верста», а потом была переименована в «Маленковскую». Инженеры и техники – метростроевцы и члены их семей – на электричках могли быстро с этой платформы попасть в Москву, прямо к строящейся на вокзальной площади станции метро «Комсомольская» и расположенным рядом с ней станциям «Сокольники», «Красносельская», «Красные ворота», «Кировская».

В метростроевском городке был клуб, различные бытовые мастерские, промтоварный и продуктовый магазины с большим ассортиментом гастрономических, бакалейных, кондитерских, мясных и овощных продуктов. Сначала, во времена продкарточек, он был закрыт для посторонней публики. Но с отменой карточек их магазин могли посещать все.

Метростроевский городок, сохраняя свое название, простоял до начала пятидесятых годов. В эти годы сюда пришла новая цивилизация. Вместо деревянных двухэтажек вдоль Мазутного проезда параллельно железной дороге встали десятиэтажные благоустроенные дома, в которые вселились ответственные работники солидных ответственных государственных и партийных учреждений. Но скоро из-за постоянного шума проходящих железнодорожных составов эта категория населения потихоньку перекочевала в еще более благоустроенные районы.

Наш пустырь от метростроевского городка отделял безымянный ручей, который начинался с заболоченных когда-то концов Старой и Новой Алексеевских улиц и, петляя по овражку, впадал в речушку Копытовка, которая сама была притоком Яузы. Когда-то и ручеек, и речушка были чистыми и не вонючими. Но уже в середине тридцатых их погубили отходы банно-прачечных, мыловаренных и мехообрабатывающих окрестных производств. Со временем они исчезли – строители, преобразователи природы, заключили их в коллектор. Теперь они несут свои мыльные воды невидимыми путями. Не только названия, но и самое их существование жителями окрестных улиц и кварталов давно забыто. Я же до сих пор помню их незатемненные струи и чистые зеленые луговые берега, на которых со своими товарищами мы собирали щавель и другие съедобные стебли, как когда-то на нашем деревенском лугу. По левому берегу безымянного ручейка уже к нашему приезду были выстроены бараки для рабочих-строителей будущего орденоносного «Мосжилстроя». В них жила публика неприятельная из недалеких и далеких сельских мест, занятая на стройках Москвы в непрестижных профессиях землекопов, грабарей, штукатуров, плотников. А совсем близко к нашим домам располагались вместе с конюшнями и парком специального транспорта обозные ассенизаторы треста «Мосочистка». Их еще называли «золотариками». Со стороны этого конно-гужевого парка всегда тянуло соответствующими запахами. Но не только ими отличались от прочих эти дворы. Среди возчиков были парни, которые своей удалью наводили страх на окрестное население. Драку эти молодцы могли учинить без причины, просто после выпивок. Но чаще всего они возникали на почве соперничества вблизи девичьих общежитий. Немало таких удальцов было и среди молодежи городка «Мосжилстрой». У них был свой вождь-предводитель. Кличка у него была сказочная и страшная – Аржак. Можно сказать, что вся территория городка была подчинена его воле и молодецкой силе. Авторитет Аржака передавался и всей подростковой и ребячьей молодежи городка. Его территория была суверенна и неприступна для посторонних. Но и за ее пределами люди старались избегать встреч с шумными ватагами подвыпивших парней. А через некоторое время я увидел этого человека в нашей Мало-Марьинской бане, он работал там парикмахером и выглядел совсем нестрашным, а скорее симпатичным парнем.

Территория жилых барачных городков «Мосжилстроя» и «Мостресточистки» отделялась от территории наших неорганизованных таких же барачных строений естественной границей – валом-насыпью по трассе старого Мытищинского водопровода. На этом валу летними вечерами собиралась на гулянье молодежь. Случались и драки.

Всю окрестную территорию места нашего будущего проживания я, конечно, изучил после того, как мы переехали сюда с Третьей Мещанской. А в первый день приезда знакомство состоялось только с Суконной улицей, когда мы благополучно обошли огромную черную лужу и подошли к нашему новому дому. У него уже был номер 26. Около дома стояли штабеля лесо- и пиломатериалов. Тут я увидел своих будущих друзей – Павлика и Мишу Кутковых. Они качались на доске, положенной поперек бревен. На меня они не обратили внимания. Познакомился я с ними позже. Мы торопились в свою комнату. Дом наш был только что построен, но уже

полностью заселен. Пустовала только наша комната в квартире номер семь во втором подъезде, на втором этаже. Дверь нам открыла наша соседка Клавдия Петровна Матросова, в замужестве Казарцева. Встретила она нас дружелюбно. Мне и Маме Клавдя, как она себя назвала, понравилась. Совсем недавняя деревенская девушка, из деревни Мышенское Михневского района, она уже была ударницей в мотальном цеху на чулочной фабрике имени Ногина. Рыжеволосая, с короткой прической, с живыми и смелыми серо-голубыми глазами, с крупноватым, не портившим в молодости ее симпатичного лица, носом, с располагающей к дружбе улыбкой, она возникла перед нами в открытой двери и громко и уверенно приветливо заговорила с нами, приглашая войти в кухню. В квартире было чисто. А в комнате ее царил девичий уют. Железная койка была заправлена чистым тканевым одеялом, из-под которого свисал кружевной подзор. А в изголовье возвышались две взбитые подушки в чистых наволочках.

После осмотра своей комнаты мы были приглашены Клавдией к чаю. Меня она угостила песочным пирожным, а Маму чаем с деревенским вареньем и дружелюбным разговором. Так началось наше совместное проживание в одной квартире со знатной ударницей, а потом стахановкой Клавдией Петровной Казарцевой. Мы прожили с ней, а затем и с ее семьей вместе почти до самой войны без конфликтов и ссор, с одной стороны, благодаря мудрости моей Мамы, а с другой – открытости, честности, отходчивости и добропорядочности характера нашей соседки.

После первого знакомства с новым жилищем мы стали ездить за Крестовскую заставу почти каждый день. Началась работа по переоборудованию комнаты по нашему вкусу. Врезались замки, приводились в порядок окна, обклеивались обоями стены. Электричества в нашем доме и в других тогда не было. Пришлось покупать уже почти забытую после деревни керосиновую лампу. Вся эта работа завершилась мытьем полов. И вдруг во время этого занятия в дверях нашей комнаты появился незнакомый мужчина. Это был наш сосед снизу, Анатолий Михайлович Сахаров. Не сказал бы, что он чем-то возмущался, но на лице его все-таки было выражение досады и раздражения. Оказывается, от маминого мытья полов у него промок потолок. Такова была конструкция нашего дома. Она не предусматривала никакой гидроизоляции. Случившееся могло бы стать причиной конфликта и в этот, и в другие разы при мытье полов. Но на этот раз извинения Анатолием Михайловичем были приняты. А Мама обязалась впредь быть осторожней. С тех пор и с семьей Сахаровых установились у нас нормальные, мирные и дружественные отношения. Должен еще раз отметить, что на соседей нам всегда везло. Часть жизни нашей семьи в Москве прошла в общих квартирах с хозяевами, и за это время не случилось ни одного конфликта. Не помню я конфликтов и с соседями по дому на новом месте жительства, и с соседями по загородному нашему дому в поселке «Дружба» под Москвой, куда семья переехала в 1939 году. Везло нам на соседей везде. Всегда они были хорошими. Но только теперь я понимаю, что главной причиной мирного и дружелюбного соседства была добропорядочность моих родителей. Это нейтрализовало возникающие, бывало, соседские экстремизм и амбиции и давало добрый пример взаимного уважения и мудрой уступчивости даже тем, кто на первых порах обнаруживал какую-то агрессивность характера. Этому также способствовали и стали примером мир и взаимопонимание в нашей семье. Родители мои, однако, достоинства своего никогда не теряли и поступали сообразно собственным взглядам и принципам, независимо от всяческих пересудов.

Итак, весной 1933 года семья наша оказалась в полном сборе. Возвратились из Тверской области и из Ойротии старший и средний братья, где они отработали практику на строительстве дорог после окончания Автодорожного техникума. Все мы были очень рады щедрому подарку руководства фабрики имени Ногина. Здесь, на этом еще необжитом и неблагоустроенном месте, нам предстояло прожить немало лет до того, как возникли новые возможности в улучшении наших жилищных условий. Все эти годы рядом с нами жили и наши соседи – семейные и незамужние, еще молодые и веселые работницы с чулочной фабрики. Через год фабрика построила еще два дома. Но они оказались на некотором отдалении от первых двух,

можно сказать, на другой улице – Маломосковской. Отличались новые постройки только тем, что и внутри и снаружи они были отштукатурены и более приспособлены к зимним холодам. Туда нас и переселили, чтобы сделать то же с первыми двумя домами. А адрес наш все же сохранился по Суконной улице, только номер стал 26/4.

Все четыре наших фабричных общежитейских дома, как и все другие вокруг нас, простояли до начала шестидесятых годов, хотя рассчитаны они были на десять лет максимум. В них не было водопровода и канализации. В некоторых до самого последнего дня туалеты были общими и находились на улице. Наши же отличались тем, что в каждой квартире имелись туалетные чуланы. Зато под окнами постоянно «благовонили» выгребные ямы. Отопление было печное. А электричество в наши дома провели только в 1935 году.

Хорошо помню, как сначала построили каменную трансформаторную будку, как в трансшее укладывали толстый кабель, как против наших домов, в их створе установили столб, и электромонтер с помощью «кошек» поднимался на него к ввинченным на его вершине фарфоровым изоляторам и натягивал блестящие медные провода. Скоро в наших домах засветились электрические лампочки. На нашем столе появилась настольная лампа с зеленым стеклянным абажуром, под потолком повисла люстра из разноцветных стеклянных трубочек. Эти атрибуты довоенной электрификации сохранялись в нашей комнате многие годы до самого последнего дня, пока цел был сам дом. Вместе с электричеством в наши окраинные стандартные дома за Крестовской заставой пришла новая цивилизация. Вчерашние деревенские жители, поселившиеся в этих домах, в качестве сезонных рабочих выходили на светлую, залитую огнями электричества городскую московскую улицу жизни.

Я собственными глазами видел это превращение и сам испытывал на себе эту перемену вместе с моими родителями, братьями и сестрой. То же самое происходило и в жизни наших соседей.

Помимо девушек-работниц в этих фабричных домах, кроме нашей, проживали еще четыре семьи. С главою одной из них мы познакомились в тот день, когда Мама занялась мытьем полов. Я уже называл его имя. Это был Анатолий Михайлович Сахаров. На фабрике Ногина он работал помощником мастера. В его внешности в день знакомства меня удивила какая-то немужская манерность в голосе и мимике лица. Он как-то жеманно высказывал тогда свое возмущение по поводу случившейся непреднамеренной оплошности моей Мамы. В раздражении речь свою он сопровождал картинными жестами рук с тонкими длинными и бледными пальцами. Он заламывал их, а они хрустели. Дядя Толя мне тогда не понравился. Он показался мне человеком несимпатичным. А с дочерьми его, Тamarой и Галей, у нас с самых первых дней знакомства установилась дружба, которая никогда не прерывалась, если не считать коротких, на день-два, размолвок по пустякам. Мы дружили во дворе, учились в одной школе, жили и вырастали в коллективной среде нашего тогдашнего общежития. А мать этих девочек и жена Анатолия Михайловича – тетя Шура (Александра Васильевна) была женщиной спокойного нрава, симпатичной внешности и дружелюбной по отношению ко всем соседям. В условиях женского общежития она никогда не участвовала в каких-либо сговорах, сплетнях и тем более конфликтах. Работала она секретарем-машинисткой на Меховой фабрике, а затем на Меховом комбинате, построенном вместо этой маленькой примитивной фабрики на окраине Москвы, в Ростокине. Видимо, должность машинистки при начальстве обязывала ее уделять внимание своей внешности. Тетя Шура всегда была аккуратно причесана, небогато, но всегда прилично одета. Хозяйством дома она не занималась. Оно было на попечении Анатолия Михайловича. Не случайно, наверное, наше первое знакомство состоялось по поводу обычной коммунальной неурядицы, на почве которых обычно сталкиваются женщины-хозяйки. Не случайно, наверное, и то, что Анатолий Михайлович удивил нас не совсем мужским поведением. Все хозяйкины заботы в семье лежали на нем – и посещение магазинов, и приготовление обеда, и забота о девочках, и даже стирка с мытьем полов. Эти занятия его не унижали. Семья

жила дружно. В Москве они поселились, как и мы, недавно. До этого Сахаровы жили у себя на родине, в подмосковном промышленном селе неподалеку от станции Конобеево Рязанской железной дороги. Дядя Толя и там работал помощником мастера на ткацкой фабрике. Его и тети Шурины родственники – подмосковные крестьяне-ткачи – по праздникам приезжали в гости. В эти дни в комнате под нами было шумно и весело. В 1942 году летом, когда я со своим полком в эшелоне уезжал из Москвы по Рязанской железной дороге на фронт, через открытую дверь вагона вдруг увидел промелькнувшее на быстром ходу название станции «Конобеево» и вспомнил рассказы моих подруг, сестер Сахаровых, об их деревне, о родственниках, приезжавших к ним в гости с ягодами черники и гонобобеля и другими деревенскими гостинцами. От них и мне перепадало полакомиться. Вспомнились мне картины нашего детства, наш дружный немногочисленный ребячий двор. Мальчиков в нем было четверо, а девочек – две. С искренним сожалением и грустью я вспомнил и то, что нет уже прежней дружной семьи Сахаровых. Неожиданно для всех обитателей нашего дома, года за два до войны, вдруг ни с того ни с сего дядя Толя и тетя Шура развелись. Оказалось, что и у того, и у другой давно уже возникли новые увлечения, которые, в конечном итоге, привели к тихому и безвозвратному разводу. Анатолий Михайлович оставил семью первым. А Александра Васильевна вскоре после этого получила комнату от Мехового комбината в новом благоустроенном доме, в городе Бабушкине. Некоторое время около нее обретался какой-то мужчина. Но новой семьи у нее не получилось. Осталась она одна, с двумя дочерьми. А Анатолий Михайлович, рассказывали, кого-то успел родить.

Очень нас всех удивил этот, как нам казалось, нелепый развод взрослых людей, со взрослыми уже дочерьми и разрушение, как нам тоже казалось, прочно сложившейся семьи. Осудить этот поступок было невозможно. Все сожалели, сочувствовали и не верили, что это надолго. Однако судьба лишь на короткое время соединила эту семью.

В первые дни войны Анатолий Михайлович Сахаров записался добровольцем в Народное ополчение и был отправлен на фронт в район Смоленска. Там осенью сорок первого их часть попала в окружение. Но плена дяде Толе удалось избежать. Он вышел из окружения и нежданно-негаданно, на короткое время, объявился в своей старой семье к великой радости дочерей. В один из дней той погожей осени сорок первого я увидел его в кругу вновь обретенной семьи, услышал его рассказ об окружении. Он уже не казался мне тогда кухонным мужчиной, каким представлялся в первую встречу. Это был уже настоящий артиллерист-зенитчик. Вскоре он снова ушел на фронт. И там же, под Смоленском, опять попал в плен. Из плена он бежал и, до освобождения Красной Армией, прижился у вдовы-крестьянки в одной из деревень. В свою семью он больше не вернулся, а прислал всего два письма. В последнем он писал, что снова уже воюет. Обо всем этом я вспомнил, увидев мелькнувшее перед моими глазами название станции Конобеево, на которой мне в жизни больше никогда не пришлось останавливаться.

С тех пор фронтовые и жизненные дороги уж никогда не сводили меня вместе с моими школьными и дворовыми подругами. После войны было несколько редких и непродолжительных встреч и телефонных звонков. Жизнь развела нас в разные стороны, и в суете повседневной потух огонек нашей детской дружбы. А жаль!

\* \* \*

Рядом с нашей квартирой на нашем же этаже жила другая семья. Знакомство с одним из ее членов тоже произошло в день смотрин нового жилища. На крылечке нашего подъезда, в санках (а снега уже не было, хотя и было прохладно) сидела, закутанная в какие-то старые одежды, девочка двух-трех лет. Лицо у нее было прозрачно-бледное и грустное. Наверное, она давно уже сидела в одиночестве, и это ей, по-видимому, было привычно. Может быть, девочка

просто замерзла. Нам показалось, что она вот-вот заплачет. Но вдруг, увидев нас, она улыбнулась милой и грустной улыбкой. Маме моей стало ее жалко. Она нагнулась к ней и спросила, как ее зовут. «Мара» – прошелестели ее тонкие, посиневшие от холода губки. Это была Мара Френкель, дочь наших соседей из восьмой квартиры. Встревожившись, как бы девочка не простудилась, Мама постучала в дверь соседей. Открыла дверь большая, деревенского вида, уже немолодая женщина. Потом мы узнали, что ее зовут просто Еленой. Она была домработницей у наших соседей, и девочка Мара была на ее попечении. Тревоги моей Мамы она не разделила, сказав, что так велели родители, что, мол, девочка уже привыкла каждый день таким образом гулять на улице. И все-таки маминому совету она вняла и спустилась вниз, чтобы, наконец, забрать девочку домой. Помнится мне, что на следующий день Мара заболела, а ее мама, Ида Сауловна Френкель, моя будущая учительница в новой школе, обратилась к нам с просьбой одолжить молока для заболевшего ребенка. Так мы и познакомились.

Соседи из восьмой квартиры жили в нашем доме пять лет. Ида Сауловна была моей учительницей в третьем классе. Она быстро подружилась с моей Мамой и общалась с ней запросто. А для Мары Мама стала бабушкой. Она так и называла ее. Бестолковая, но очень добрая домработница Елена беспрекословно выполняла все рекомендации и указания Мамы, касающиеся ухода за девочкой. Да и Ида Сауловна очень часто нуждалась в ее мудрых житейских советах. Сама она была хозяйкой неопытной, кулинарным искусством не владела. Но очень часто рассказывала о своих родителях и особенно о своей маме, о вкусных блюдах, которые она готовила на еврейскую Пасху. Жили ее родители в незнакомом мне городе Борисове в Белоруссии. Она вспоминала об этом, когда моя Мама угощала ее русским куличом, пасхой и пирогами. Когда нянька Елена вдруг по какой-то причине отказалась служить у Френкелей, некоторое время родители Мары оставляли ее на попечение нашей Маме.

А вот с главой семьи Френкелей мы за все годы соседства так и остались незнакомы. Знали мы, что имя его было Роман. Ида Сауловна называла его Ромкой. Он был человеком необщительным, ходил в полувоенной одежде, в суконной гимнастерке под ремень, в брюках галифе и в сапогах. Вид у него был строгий. Волосы на голове носил «политзачесом» и производил впечатление человека, очень занятого и будто бы озабоченного важным и ответственным делом. Когда его не было дома, я приходил к Иде Сауловне, чтобы поиграть с Марой. У них было очень много книг. Сочинения классиков рядами стояли в специальных книжных шкафах. Но брать их в руки не разрешалось. Таково было указание хозяина. А мне было интересно. Однажды я все-таки взял одну книгу. Это был «Князь Серебряный». Нечаянно я надорвал суперобложку и этим напугал Иду Сауловну. Тогда я узнал, что и сама она боится своего Ромку. А потом мне стало казаться, что она его не любила. Какая судьба свела этих двух людей? На этот вопрос, возникавший не только у меня, так и не нашлось ответа. Книжку с надорванной суперобложкой она тщательно спрятала в шкаф. Хозяин ущерба не заметил, может быть, потому, что книжку эту он сам так ни разу и не взял в руки. Я не видел, чтобы он когда-либо читал книги.

В 1938 году Френкели получили квартиру в доме, построенном для ударников легкой промышленности на Октябрьской улице. Какое отношение Роман Френкель имел к ударникам-стахановцам, для нас тоже осталось неизвестным. Но мы радовались за соседей без зависти. Некоторое время наша дружба с Идой Сауловной и Марой продолжалась. Несколько раз я бывал у них с Мамой. И тогда мне хозяин показался даже приветливым и разговорчивым. После войны мне захотелось навестить мою учительницу и посмотреть на ее дочку Мару. Какой она стала, став взрослой девушкой? Я помнил их квартиру. Однажды, проходя случайно по Октябрьской улице, я увидел знакомый дом. Зашел. Поднялся на нужный этаж. Долго нажимал кнопку. Звонок звонил, но дверь никто не открывал. Открылась соседняя, и соседка спросила, кто мне нужен. Я сказал. Она же, пожав плечами, поведала, что Ида Сауловна и ее муж давно умерли, а Мара на работе.

Скоро я стал студентом Московского университета. На нашем курсе училась девушка по фамилии Френкель. А звали ее Мариной. Знакомство с ней дало мне повод вспомнить еще раз своих добрых соседей.

\* \* \*

На первом этаже в первом подъезде нашего дома в маленькой девятиметровой комнате раньше нас поселилась семья Кутковых. Двух младших Кутковых, братьев Павлика и Мишу, я заметил еще в первый день знакомства с новым местом жительства. Они качались на доске, положенной поперек деревянных брусьев. Подкидывали друг друга они довольно высоко, и я позавидовал их удовольствию, выражаемому громким визгом. Особенно пронзительно взвизгивал младший – Мишка. А старший, Павлик, показался мне похожим на одного нашего деревенского мальчишку по кличке Таратуха. Очень мне было удивительно это неожиданное сходство.

Познакомились мы очень просто и быстро. И сразу подружились. Ребята эти тоже совсем недавно приехали с родителями в Москву и оказались сродни мне по деревенскому духу. Оказалось даже, что мы были земляками из Центральной черноземной области. Правда, потом это землячество оказалось не таким близким. Они приехали откуда-то из-под Белгорода, а мы – из-под Мценска. Да и фамилия у них была, вроде бы, украинская, хотя новые наши соседи такими себя не считали, а писались русскими. В речи же их, однако, достаточно выразительно звучали малороссийские слова и интонации. Да если бы они и были украинцами, то это никак не предопределило каких-либо особенностей в наших взаимоотношениях. Это в нынешнее время люди начали так активно и усердно разгораживаться по национальной принадлежности, и в свидетельствах о рождении, и в паспортах, и границами новых государств, раскрывшими великое, веками складывавшееся единое Российское государство. А усердие получилось не по разуму. И простаиваем мы теперь у шлагбаумов, на таможнях, в ОВИРах, в посольствах и консульствах, чтобы увидеться с родными и близкими, оказать друг другу помощь, наладить деловые связи, предотвратить последствия разгула природной стихии и дикого рынка и непредсказуемых глупостей навязчивых идей националистических и экстремистских политиков. Стоят теперь простые люди-труженики, всю жизнь прожившие вместе, перед воздвигнутыми пограничными заграждениями, чешут затылки, потылицы и иные места и понять не могут, для чего все это сделано. Однажды я спросил горемыку-украинца, правдами и неправдами пробравшегося со своими скудным ассортиментом скоропортящихся продуктов на Московский привокзальный грязный базар через пограничные кордоны и таможни: «А скажите, дядько, будь ласка, як же це все зробилось?» А он мне в ответ: «Та хіба я можу знати? У нас нічого не спытали, нам нічого не сказали». А я вспомнил украинскую пословицу: «Бачили очи, що купували. Тепер іште, хочь повилазьте!»

А что бы сказал, глядя на нашу теперешнюю «дружбу русского и украинского народов», дядя Сеня Кутковой, отец моих друзей из далеких советских тридцатых годов?

Родители моих тогдашних друзей – Семен Федорович и Дарья Семеновна Кутковые – были людьми бедными, как и большинство обитателей нашего фабричного общежития. Но они имели больше оснований ждать от советской власти лучшей доли, чем другие. Дело в том, что бывший красноармеец, крестьянин-бедняк Семен Федорович Кутковой участвовал в Гражданской войне, штурмовал Перекоп и был в польском походе. Заслугами, однако, он не был отмечен. Зато отмечен был шальной белогвардейской пулей в плечо, навывлет. По окончании войны был демобилизован с сохранением годности к воинской службе. По возрасту дядя Сеня был ровесником моей Маме, оба с 1893 года. А в начале тридцатых годов, будучи уже за сорок, он часто вспоминал романтику суровых военных лет. Под кроватью в его маленькой комнате

хранился до последних дней жизни его красноармейский сундучок, с которым он прошагал в пехоте почти до Варшавы.

Однажды в 1934 году дядю Сеню призвали на краткосрочную военную переподготовку. И он извлек тот сундучок из-под кровати, уложил в него указанные в воинском предписании смену белья, бритву, старый солдатский ремень, полотенце, две пары портянок и снова отправился с ним из дома в военкомат, а потом в воинскую часть. Я вместе с его сыновьями провожал резервиста до трамвая. А потом мы узнали, что воинская часть, в которую попал наш герой, стоит лагерем в Сокольниках. И мы пошли туда, ведь это было совсем недалеко от нашего дома. Дядя Сеня очень обрадовался, увидев нас. Мы что-то принесли ему от тети Даши. А он завел нас в большую красноармейскую палатку. Я впервые увидел тогда армейский порядок, выстроенные в два ряда койки, заправленные серыми суконными одеялами, с белыми подголовниками-простынями и на них искусно взбитые, в белых наволочках, подушки с сеном. Рядом с палаткой стояла пирамида с настоящими винтовками. И тут же, на специальной подставке, стоял станковый пулемет системы «Максим». Тогда же я впервые услышал солдатскую походную песню, которую через несколько лет и сам пел, помогая ногам своим шагать по солдатской дороге. А тогда с занятий подходила соседняя рота. Красноармейцы пели:

Я пулеметчиком родился,  
В команде с «Максимом» возрос.

Дядя Сеня покорила меня тогда своим бравым, подтянутым видом и веселым настроением. Мне показалось, что он с удовольствием возвратился в армейский распорядок жизни. Наверное, это было так. Потому что она хоть на короткое время освободила его от повседневных забот, от повседневных задач и трудных семейных будней. Ни о чем не надо было думать. Тут тебя и накормят, и напоят по установленной норме, и на сон, и на подъем команду дадут, и жизнью твоей распорядятся. В гражданской жизни Семен Федорович был сапожником. Он был хорошим сапожником и мог шить щегольские хромовые сапоги. Но почему-то работал этот хороший мастер в обычной сапожной мастерской под общей вывеской «Москоопремонт». С его сыновьями я бывал в этой мастерской на Ново-Останкинской улице. Но дядя Сеня работал и на дому. Для нашей семьи во все годы соседства с ним не было лучшего мастера, чем он. Но в прозе повседневной сапожной жизни этот человек, оказывается, способен был мечтать о большем. Однажды я узнал, что дядя Сеня пишет стихи.

Как-то летним днем в поисках моих друзей я заглянул в открытое окно комнаты Кутковых. Ребят там не было, а дядя Сеня сидел за столом с каким-то старичком-евреем и что-то читал ему из тетрадки, которую я видел в его солдатском сундучке. На меня собеседники не обратили внимания, и я услышал, что наш сапожник читает стихи про две розы. Конечно, теперь я не помню рифмы и размеров этого стихотворения, но помню их содержание. Одна роза, скромная и грустная, росла под открытым небом, а другая – в прекрасном питомнике. Одна обдувалась жестокими ветрами, поливалась ливнями или, наоборот, страдала от жажды. А другая холилась руками садовника, укрытая от жестокой непогоды, и была необычайно красива. Но первой, тяжелой доле ее и сиротской красоте, дядя Сеня, поэт, отдавал все свои лучшие человеческие чувства сострадания и восхищения. Красоту же второй, изнеженной, надменной и недоступной простому чувству, он, однако, не хулил, но, по доброму сердцу своему, выражал свое сочувствие, как созданной только для забавы, для короткого удовольствия бесчувственных и недобрых людей. Автор читал проникновенно, с чувством. Сейчас я и сам не могу представить, почему мне запомнился этот эпизод. Но я его не мог выдумать. Я помню даже, что в стихотворении все время повторялись слова: «Две розы росли...» Было чему удивиться! Много времени спустя я понял, что своей поэтической аллегорией дядя Сеня изливал собеседнику свою душу, свою сокровенную тайну красивой любви. Но это, к сожалению, я

понял потом. А тогда я только удивился и ничего не понял. Старичок что-то ему говорил, а потом взял у него тетрадку и что-то ему пообещал. Сумел я, правда, тогда понять, что дядя Сеня был не Пушкин. А вот того, что он был не простой сапожник, я оценить не смог. Мне не под силу и не по разуму было соединить его серую прозу жизни с тонкими поэтическими аллегориями, с переживаниями чувства красивой любви.

А жена Семена Федоровича – Дарья Семеновна, никак не вписывалась в лирические образы его аллегорий, никак им не соответствовала. Глядя на нее, трудно было представить и понять, что соединило этих двух разных людей – красивого, стройного, да еще с поэтической душой, красноармейца с некрасивой и с лица, и по фигуре, да еще, честно говоря, глуповатой женщиной. Она была коротконога, вислозада, с заметно удлиненным туловищем. А лицо у нее было большое и круглое, и как будто вдавленное вовнутрь. В речи ее всегда наблюдался недостаток слов. Тетя Даша была больше украинкой, чем дядя Сеня. Поэтому, может быть, и не хватало ей нужных русских слов. Выйдет, бывало, в обеденный час на крыльцо и громко начинает звать своих сыновей: «Миша, Павлик, идите шамать!» Книг и газет, конечно, Дарья Семеновна не читала. Они ей были не нужны, так как грамоте она не обучалась. Работала она на фабрике и работницей была примерной. Поэтому-то и одарила ее дирекция комнатой в девять квадратных метров на четверых. Кроме кровати, стола и сундука, на котором спали сыновья, другого имущества у Кутковых не было. Зато над кроватью висел прекрасный гобелен – образец ремесленного художественного творчества, приобретенный на развале Ярославского колхозного рынка. На нем были изображены озеро с лебедем, по берегам – диковинные пальмы, а на необыкновенном ложе, в беседке, возлежала пышнотелая, дебелая брюнетка.

В целом, как принято у нас заключать в отчетных характеристиках, семья Кутковых была дружной и прочной. Хлеб насущный добывался честным и тяжелым трудом. Излишков не было ни в еде, ни в одежде. Дороже ливерной колбасы на столе у них ничего не было. Сейчас ведь никто не поверит, что сей продукт был определен для бедных людей. Бывало, что на второе здесь ели арбуз с черным хлебом. Арбузы тогда тоже были к осени дешевыми. Не отказывали себе наши соседи в картофеле и капусте и во всяческих мясных субпродуктах. В наше, теперешнее время эта пища вдруг превратилась в деликатесы богатеев-бизнесменов, а тогда она была показателем бедности. Семен Федорович и Дарья Семеновна прожили всю жизнь в мире и согласии и претензий друг к другу никогда не предъявляли. Жили и работали, как могли, но всегда честно. В самом начале войны после простуды заболел туберкулезом их старший сын и мой товарищ Павлик. Катался он однажды, в начале апреля 1941 года, на льдине в одной из больших луж в старых песчаных карьерах и упал в воду. День был холодный, а вода ледяная. Павлик простудился. Простуда быстро развилась в воспаление легких. Чахотка оказалась скоротечной. К осени того же сорок первого он умер. А старики с младшим сыном Мишей пережили войну. Второму сыну на войне быть не пришлось. Он тоже был болен туберкулезом. Но его болезнь врачам удалось остановить. После войны я застал всю семью в живых. Мне довелось соседствовать со старыми друзьями до начала шестидесятых годов, до тех пор пока дом наш по Суконной улице, 26/4 продолжал стоять на своем месте.

В конце пятидесятых Семен Федорович скоростижно скончался. И пришлось мне после этого ходить в сапожную мастерскую к незнакомым мастерам-алкоголикам. Я был на похоронах дяди Сени на Пятницком кладбище. Там тогда еще сохранялась могила его старшего сына Павлика. В ней они и встретились.

Миша в это время уже с родителями не жил. На похоронах мы повидались, а потом потеряли друг друга из вида.

А тетя Даша вдруг оказалась способной на неожиданное. После смерти мужа, уже будучи в преклонном возрасте, она вдруг явилась в нашем дворе в образе вульгарно модной, старой, но молодящейся женщины. Наверное, это было не от ума. Жалко и обидно было на нее смотреть. А она не могла понять, что это смешно. Помочь ей было невозможно. При расселении

нашего дома перед сносом она выбрала себе квартиру где-то в районе улицы Якиманки. Как-то однажды вдруг я увидел ее на троллейбусной остановке в Охотном ряду. Она была в необыкновенной соломенной шляпе с лентой, с бантом на шее и с очень неразумным выражением во взгляде. Мы столкнулись с ней лицом к лицу. Она меня не узнала или сделала вид, что не узнала.

Как мне известно, семейная жизнь младшего Куткового – Михаила Семеновича, не дала продолжения его роду. На том он и кончился. И память героического прошлого участника штурма Перекопа, его высокого искусства сапожного мастера, его поэтических мечтаний, его трудолюбие и дружелюбное отношение к людям унаследовать и сохранить оказалось некому.

\* \* \*

По мере заселения наших фабричных домов-новостроек складывался наш дворовый детский коллектив (и не только детский) и происходили новые знакомства. Очень скоро на штабелях стройматериалов, на самодельных качелях из досок нас уже стало шестеро – две сестры Сахаровы, два брата Кутковых, я и новый чернявый мальчик – Федя Тимофеев, наш ровесник. Он с родителями вселился во второй дом, который стоял напротив нашего. Его отец и мать тоже работали на фабрике. Главой семьи была Александра Васильевна Тимофеева. А муж ее – Иван Федорович – в семье занимал заметно подчиненное место.

И с этой семьей судьба свела нас на долгие годы соседства, пока не развела окончательно новая застройка нашего барачного жилого массива. Однако теперь, вспоминая ее, я вдруг обнаружил, что многое из жизни этой семьи мне осталось неизвестным, неясным и даже загадочным. Во-первых, и я и мои товарищи так и не узнали, откуда приехал в Москву наш новый друг. Мы, конечно, не спрашивали его об этом. Но и он сам никогда не хвалился, в отличие от нас, своими рассказами о родных местах и бывших друзьях. Мать Федьки Тимофеева, тетя Шура (Александра Васильевна) производила впечатление женщины бывалой. На руке ее мы сразу заметили наколку – татуировку из двух букв, обозначающих ее имя и фамилию. Было ей за тридцать, наверное, даже около сорока. Она курила. В те времена в нашей жизни курящие женщины встречались не так часто, как сейчас. И папироса в зубах, как правило, свидетельствовала либо об их принадлежности к кругу эмансипированных интеллигенток или аристократок бывшего дореволюционного общества, либо наводила на мысль о причастности к бывалым людям. Но скажу прямо, на эмансипированную интеллигентку, а тем более на аристократку тетя Шура не походила. С другой стороны, у меня не было никаких поводов для каких-либо криминальных подозрений. Но курила она свою папиросу совсем не по-женски, без всякого жеманства, по-мужски загоняя ее залихватски в угол рта. Разговаривала хриплым, прокуренным голосом, тяжело откашливаясь. А речь ее интонацией и лексикой намекала на возможную причастность к южнороссийскому базару. Внешностью она была похожа то ли на армянку, то ли на еврейку, а то просто на цыганку. Скорее всего, она была все-таки русской женщиной, откуда-нибудь из-под Ростова, а может быть, Донбасса, из-под Херсона или даже из Одессы. На фабрике она недолго проработала у станка. Ее бывалость и боевитость были замечены дирекцией или профкомом. И скоро она стала комендантом нашего общежития. А все мы, проживающие в нем, оказались в некоторой зависимости от ее воли. Не скажу, что тетя Шура злоупотребляла своим положением. Обязанность блюсти порядок в молодежном, девичьем общежитии заставляла ее предъявлять всем общеустановленные требования, которые, однако, никого не тяготили. В руках у коменданта был и другой символ власти – Домовая книга и процедура прописки. Но и этим она не злоупотребляла, как это, например, позволяет себе наш нынешний начальник РЭУ, бывший депутат районного Совета Бабаев. Тогда и Домовая книга, и процедура прописки составляли одну из мелких функций государства диктатуры пролетариата. О сдаче в аренду сараев, чердаков и подвалов никто не помышлял. Теперь же

все это стало составной частью рыночных отношений и нашему Бабаю приносит большой куш. Он не стесняется сдавать в частную аренду государственные подвалы и ездить на двух автомобилях. Тетя Шура, наш комендант, в годы сталинских пятилеток и подумать даже не могла о том, что Домовая книга помогла бы ей поднять уровень ее материального благосостояния. И все же ее возвышение на комендантский пьедестал давало ей какие-то преимущества в виде первоочередности получения месткомовских и директорских льгот, за которые ей поручалось доглядывать за квартирантами и информировать по соответствующей линии.

Наверное, моя Мама это чувствовала и в откровенные беседы с тетей Шурой не вступала, на дружбу не рассчитывала и никаких поводов к конфликтам старалась не подавать. Муж тети Шуры Иван Федорович был из бывших австро-венгерских военнопленных Первой мировой войны. О нем я, кажется, знаю все, кроме двух обстоятельств: был ли он Федькиным отцом и какая его была фамилия до брака с женой? Эти вопросы для меня остались без ответа. С сыном своим он был не похож, и отцовских чувств ему никогда не выказывал. Да и сам наш дружок Федя к отцу никогда не ластился и гостинцев от него не получал. Однако первый называл другого сыном, а тот его – отцом. Может быть, я зря строю всякие догадки? Ведь не обязаны все отцы быть похожими на моего! В остальном Иван Федорович был, что называется, проще хлеба. Не хотел бы его обижать, но мне всегда, и в детстве, и во время послевоенных встреч с ним он казался человеком примитивным, ни о каких идеалах не мечтал и претензий на какое-то достоинство никогда не заявлял. Родом он был из какого-то закарпатского села. Молодым крестьянином был призван в солдаты в начале Первой мировой и сразу, как только оказался на русском фронте, сдался в плен. Сделал он это исходя не из каких-либо побуждений славянского братства или идей пацифизма. Он сам говорил, что поступил так, чтобы сохранить себе жизнь. Для этого он вынес все тяготы плена. В свою закарпатскую деревню Яблоневку бывший солдат уже не вернулся. Ему, с его невысокими потребностями в жизни, было все равно, где добывать себе самое малое и необходимое. Физически бывший крестьянин и солдат был здоров, необыкновенно силен и мог делать любую непрестижную работу. Как и многие военнопленные, он всю войну работал батраком в русских крестьянских хозяйствах. Как он в конце концов оказался в городе, где его свела судьба с тетей Шурой и что их связало вместе, я не знаю. Не замечал я никогда какой-либо лирики и тонких чувств в их взаимоотношениях. Но и не помню, чтобы они когда-нибудь были недовольны друг другом. В еде и одежде Иван Федорович был неприхотлив и обижаться на жену у него не было никаких поводов. На фабрике имени Ногина он работал разнорабочим и до войны, и после нее. С соседями дружбы не водил, но от партии в домино не отказывался. В этой игре он был гроссмейстером и мог лучше всех стучать костяшками по столу. Иногда мне приходилось играть с ним в паре (когда не хватало взрослого партнера), и дядя Ваня суровыми словами квалифицировал мои неверные ходы. Шутить он не умел, и если кто-нибудь позволял себе какую-либо шутку, он без всякой жалости отвешивал крепкого подзатыльника, а то и пинка. Общественной пользы от дяди Вани было немного. Солидарности он не проявлял ни к кому, но и вреда никому тоже не делал.

Когда началась война, Иван Федорович сразу же добровольцем вступил в Народное ополчение. Но в этом поступке, как оказалось много лет спустя, никаких благородных и патриотических побуждений не было. Очень скоро его ополченскую дивизию направили на фронт, откуда тетя Шура не получила ни одного письма. Иван Федорович просто после первого боя пропал без вести. Так ей сообщили в военкомате. Все-таки тревожилось сердце у нее! Но и слез опять же не было, как и при расставании.

А мой одноклассник, сын Тимофеевых Федька, тоже ушел на фронт и также добровольцем. С ним случилось то же, что и с отцом. Он пропал без вести. А после войны, кажется в 1946 году, домой явились друг за другом и сын и отец. Иван Федорович таиться не стал. Он просто-напросто рассказал, что сразу, в первом бою, где-то под Вязьмой он сдался в плен. А я, помня историю его плена в 1915 году, сразу понял, что дядя Ваня повторил проверенный ход. Все

четыре года он был в плену у фашистов и опять остался живым. Но из второго плена он пришел уже нездоровым. На этот раз не только лиха оказалось больше. Он рассказывал о нечеловеческих условиях не только в лагере, но и в хлеву, у богатого немецкого крестьянина, куда он был определен в качестве раба. Еду ему и всем военнопленным-бедолагам богатый хозяин варил в том же котле, из которого она подавалась свиньям. Это от него я услышал рассказ о том, что люди в таких условиях сами превращались в скотов и таковыми сами себя ощущали. Дядя Ваня, как он сам вспоминал свою рабскую жизнь, однажды не узнал себя в зеркале не только потому, что был очень худ, а потому, что на лице его вырос вместо жесткой вороненой мужской щетины какой-то пух. Когда он про это рассказывал, я впервые увидел в нем человека, наконец осознавшего жестокое надругательство над его человеческим достоинством. Если в начале войны мой герой отправился на фронт отнюдь не из намерения воевать, бороться с фашизмом, то после плена, пережив жестокое, бессердечное отношение обыкновенных офашизированных немцев-крестьян, он стал убежденным антифашистом. Глаза его горели ненавистью. Но, увы, освободил он себя от скотства не сам. И отомстить за обиду уже не мог. Войны-то уже не было. Сил и здоровья уже тоже не стало. Повторить все сначала было нельзя. Оставалось тихо доживать, довольствуясь маленькой пенсией от советского государства.

А сын его Федя после войны тоже явился домой неожиданным. Сколько я ни пытался пооткровенничать с ним о его военных дорогах, разговор все как-то не получался. Друг детства уклонялся от прямых вопросов, да и меня ни о чем не спрашивал. Поперек лба его обозначился глубокий шрам, но и об этом у него не было охоты рассказывать. Так и осталась для меня загадкой Федина военная история. Своими предположениями, а их могло бы быть много, обижать его не буду. Бог ему судья. Мы сохранили с ним добрые воспоминания о детстве и постарались, пока еще жили вместе по старому довоенному адресу, сохранить добрые отношения соседей. Федя стал рабочим-печатником на полиграфическом комбинате «Госзнак» имени Молотова. Печатал там тома Большой и Малой Советских Энциклопедий и других уникальных изданий. Он стал даже ударником коммунистического труда и гордился этим. Потом мы разъехались, и все загадки стали забываться, также как и годы нашего детства. Однажды я вдруг увидел его в метро. Он ехал туда, а я обратно. Оба спешили. Он узнал, что я похоронил своих родителей, и что, как и он, тоже выполнил свой долг. Сообщили друг другу, что пока здоровы, работаем, и разошлись, не оставив друг другу новых своих адресов.

\* \* \*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.